



ВОЛОГДА·XXI ВЕК



**Вл. БЕЛЕЦКИЙ-ЖЕЛЕЗНЯК**

**ЛЮБОВЬ МОЯ,  
ВОЛОГДА**

местный обязательный экземпляр

*БЕЛЕЦКИЙ-ЖЕЛЕЗНЯК*

ЛЮБОВЬ МОЯ,  
ВОЛОГДА

ПОВЕСТИ, НОВЕЛЛА, ЭТЮДЫ

*K14332738*

Вологда 2003

## **Вл. БЕЛЕЦКИЙ-ЖЕЛЕЗНЯК**

*Железняк Владимир Степанович родился в семье чиновника в г. Ковно 4 января 1904 года. Со стороны матери его предок — Денис Давыдов. Детство и юность провел в Петрограде. Учился с 1925 по 1930 гг. в Москве на ВГЛК. Работал в московских газетах, печатался в различных журналах. В 1930–1931 годах, благодаря В. В. Вересаеву, в сборнике «Недра» опубликовал повести «Она с востока», «Пассажиры разных поездов»; рассказ «Оловянные солдатики» был переведен на французский язык.*

*В 1936 году административно сослан в Вологду. В Великую Отечественную войну был на оборонных работах. Награжден медалью «За доблестный труд». В Вологде в 1944–1945 гг. работал старшим научным сотрудником областного музея. Много печатался в областных газетах. Издал 10 книг. Член Союза писателей и Союза художников. Награжден грамотой Верховного Совета.*

*Умер в Вологде в 1984 году.*

## СЛОВО — ГОДЫ — КНИГИ

Более полувека работы в литературе и восемьдесят лет жизни — сроки сами по себе весьма внушительные. И ответ времени в творческой судьбе неизбежен, хотя биография каждого человека складывается по-своему.

Еще в юности Владимир Белецкий-Железняк обратился к прошлому России, но и день бегущий с его противоречиями и драматическими парадоксами неизменно привлекал его внимание. Он и в последние десятилетия писал о делах и буднях современника, однако главное, что им создано,— это повести и новеллы на темы русской истории. В них, чутко слушая голоса далеких предков, писатель уверенно высказывал свои патриотические представления об истории, представления нашего современника.

...Родился Владимир Степанович Белецкий 4 января 1904 года в городе Ковно (ныне Каунас), а его детство и отрочество прошли в Петрограде. Отец его, Степан Петрович Белецкий — крупный чиновник, сподвижник П. А. Столыпина, товарищ министра внутренних дел, сенатор, расстрелян в 1918 году в возрасте 43-х лет. Понятно, что и псевдоним не случаен, но во всяком случае близок писателю: когда-то один из его предков, глава крупного восстания носил это прозвище. С 1925 по 1930 годы В. Железняк учился на Высших Государственных литературных курсах (ВГЛК). Вместе с ним учились Юрий Домбровский и Юлия Нейман, Виктор Гусев и Арсений Тарковский, Сергей Морозов и Дмитрий Борисов...

Уже с 1926 года очерки, статьи и рассказы молодого литератора печатаются в журналах «Экран», «Друг детей», «Крестьянка». Студентом он возглавлял литературную группу «Молодая кузница» и работал под непосредственным руководством Н. Ляшко, А. Новикова-Прибоя, Ф. Гладкова. В те же годы

у него зародился интерес к Ф. М. Достоевскому, семинар по творчеству которого вел Л. Гроссман,— и этот интерес не угас и по сей день.

Серьезным литературным дебютом В. Железняк стала повесть «Она с востока», которая с одобрения В. Вересаева была опубликована в альманахе «Недра» (1930, № 18). Вызвал интерес писателей и читателей его рассказ «Оловянные солдатики» («Знамя», 1934, № 11), переведенный на французский язык в журнале «Интернациональная литература» (1935, № 5).

Он много, неумоимо работал в молодости, Владимир Белецкий-Железняк. То, что нам стало известно, лишь небольшая доля. А была еще повесть о декабристах, объемные очерки о детской беспризорности, рассказы разной тематики, несколько повестей. Все это — созданное к тридцати годам! — на долгие десятилетия осело в архиве на Лубянке после ареста в апреле 1935 года. Лишь недавно усилиями дочери писателя журналистки Ванды Белецкой наследие молодого Железняк возвратилось к деятельной жизни.

Обстоятельства его жизни сложились так, что в 1936 году ему пришлось переехать из Москвы в Вологду. Здесь, в северном городе, Владимир Железняк работал в редакции железнодорожной газеты, а затем в областном краеведческом музее, активно изучая памятники культуры и народного изобразительного искусства.

Он объездил с этнографическими экспедициями всю Вологодскую область, участвовал в организации художественного и исторического отделов музея, выступал с лекциями и докладами по изобразительному искусству, работал над статьями и очерками.

В годы Великой Отечественной войны В. Железняк был на оборонных работах, читал лекции, устраивал передвижные выставки в госпиталях. В 1943 году он принят в Союз художников СССР, а через год его избрали ответственным секретарем Вологодской областной организации художников. Деятельность В. Железняк в те годы отмечена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Искусство северян Железняк оценивает как большой знаток. В этом убеждают, например, его обстоятельные статьи «Старина-матушка» — о деревянном зодчестве («Север», 1969, № 9) и «Вологодское кружево» («Нева», 1960, № 3). Статьи В. Железняк о живописи и народном искусстве — свидетельство не только эрудиции, но и тонкого проникновения автора в психологию художественного творчества. А главное — они являлись своего рода подготовкой к художественной работе самого писателя.

Чрезвычайно плодотворным оказался постоянный интерес Владимира Железняка к истории и культуре Вологодчины. Познания его в этой области не только фундаментальны. За сухой строкой документа он умел видеть живых людей в непосредственности их душевных движений. Пришло это не сразу.

Еще в 1947 году к 800-летию Вологды появилась книга В. Железняка «Вологда», второе издание которой, значительно дополненное, увидело свет в 1963 году. Это богатая фактическим материалом книга, подкрепленная документами, отмеченная чувством современности. И вполне справедливо В. Железняка критики назвали одним из тех людей, «которые не только горячо, но и активно, деятельно любят свой город, свой уголок земли. Они помогают ему расцвести и хорошеть, эти люди раскрывают перед нами видимые и невидимые богатства родного края, душевные красоты родного народа, воспитывают любовь к родной земле, вкус к изучению его прошлого и настоящего» («Звезда», 1963, № 10).

Работа В. Железняка вступает в новый этап: рождаются книги исторических миниатюр, рассказов, повестей — «Отзвеневшие шаги» (1968), «Родное» (1972), «Голоса времени» (1976), «Лихолетье» (1979), «Осенний мотив» (1982), «Зарницы над Русью» (1983), «Последние годы Федора Достоевского» (1983), «Одержимые» (1986). В них автор находит себя как художник по-настоящему самобытный. И своеобразно оформляла его книги художница Нина Витальевна, верный спутник в течение сорока лет, неутомимый пропагандист его творчества.

Книги В. Железняка о родном крае поняли и приняли его читатели. Их отзывы говорят о том, что все они испытывают чувство признательности к писателю, уважают его работу, патриотическое значение которой несомненно. Он стал Почетным гражданином города Вологды, позже удостоен звания Заслуженный работник культуры России.

В своих новеллах и миниатюрах В. Железняк всегда немногословен. В лаконичности его чувствуется точность летописи и динамизм современности. В смене картин, в активном развитии событий вольно и смело проявляют себя герои, резкие контуры событий соответствуют описываемой эпохе.

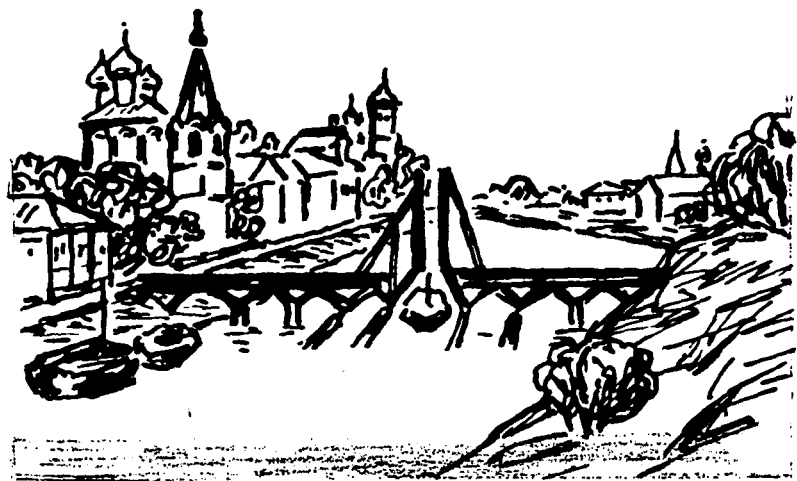
Свободно и уверенно В. Железняк чувствует себя в жанре исторической повести. В ней писатель находит живое дыхание истории, сживается с характерами людей, умело — в немногих деталях — воспроизводит быт. Таковы «Зарницы над Русью», «Анастасия — царица московская», «Евдокия-лапотница».

Он открыл нам поэта Василия Сиротина, сочувствуя его тяжкому жребию («Неистовый семинарист»). Он увлечен убежденностью Аввакума в своей вере и стойкостью его сторонников («Одержимые»). Он восхищен талантливостью русского человека, воплотившейся в росписи вологодской Софии («Мастера»).

Разнообразно, живописно, полнозвучно выплеснулась в этих произведениях любовь Владимира Белецкого-Железняка к древней Вологде, приютившей его в горькие годы надолго, до конца дней. Скончался он, завершая восемьдесят первый год, 28 октября 1984 года. Но он не ушел от нас: остались его книги и рукописи, повести и рассказы, исполненные неизбывной верности суровой родине, матери-России.

***Василий ОБОТУРОВ***





## ПРЕДИСЛОВИЕ

Если бы мне в далекие студенческие годы сказали, что вся моя последующая жизнь пройдет в Вологде, я бы очень удивился. О Русском Севере я знал только из лекций профессоров Ю. Соколова и И. Розанова да из «Истории искусств» Игоря Грабаря. Знал еще, что есть вологодские кружева и что русское «парижское» масло — вологодское.

Когда судьба забросила меня в Вологду, я первые дни ходил по городу ошеломленным. Сразу удивило — деревянные мостки вместо тротуаров и обилие коз, особенно летом. Но вскоре я полюбил задумчивыми белыми ночами прогуливаться по заречным улицам.

Тишина. Деревянные особнячки с причудливой кружевной резьбой, с антресолями и балкончиками, мезонинами и точеными колоннами, с букетными гирляндами по фасаду, запах черемухи у палисадов, кругом зелень и милый провинциальный колорит, знакомый по произведениям классиков.

Так и казалось, что вот из этого трехконного ампирного домика выйдет в крылатке и в широкополой шляпе бородатый писатель-публицист Николай Васильевич Шелгунов и, сутулясь, опираясь на палку, направится за реку «в город», к удивительному храму Варлаама Хутынского, где вместо куполов изящные вазы и где рядом в двухэтажном особняке его ждет Павел Владимирович Засодимский.

Я населял город людьми, которых не забыла история. И вот уже на скамейке Соборной горки сидят лохматый семинарист Василий Сиротин, поэт «Улицы», и его учитель — историк Николай Иванович Суворов, благообразный, солидный, в форменном сюртуке. И мимо с краснощекой гимназисткой проходит юный канцелярист губернского правления Феодосий Савинов, будущий автор «Родного». А там слышна далеко раз-

носящаяся по реке песня. Это на большой лодке, где сидит учащаяся молодежь, дирижирует хором вихрастый гимназист Володя Гиляровский...

В белые ночи возможно всякое. Скажем, зайдя в городской парк, ранее именуемый архиерейским, увидеть сопровождаемого слугой худенького старичка и узнать в нем Константина Николаевича Батюшкова, прославленного поэта русского.

Все возможно в белые ночи...

Пройдя к памятнику 800-летия Вологды, можно представить себе стародавний городок с его первоначальной деревянной церквушкой, избами с подслеповатыми окошками. А поблизости богатые дома воеводы, дьяка и купцов, украшенные затейливой резьбой...

Населен был город смелым и отчаянным до безрассудства народом густых новгородских кровей, что шел на парусниках за пушниной и морским зверем аж до самого Белого моря, пробивая тропы в лесах за кунницей и соболем, строил поселения в верховьях полноводных рек, занимался подсечным земледелием и всяким нужным промыслом.

Закроешь глаза и как бы внутренним зрением увидишь ладьи у берега, русоволосых предков в домотканьи и меховых треухах, услышишь отдаленный гул на торговой площади, запах свежих лосиных шкур и связок пушного товара и непередаваемый аромат дикого лесного меда.

Да что говорить — тороват, расторопен был вологжанин и знал о неразсторжимой связи со своей великой ровесницей — Москвой, собирательницей земель русских, и доказал это не единожды и на поле Куликовом, и в походах на Казань, и сам грозный царь жаловал не в пример другим городам Вологду каменным ожерельем и престольной Софией.

Богатела Москва — богатела и Вологда, и тянулись через нее пути на Север и на Урал, и в иноземные державы. А в лихолетье вологжане и устюжане, тотмичи и белозеры освобождали под знаменами Минина и Пожарского от лихих воров и захватчиков Москву. Всегда откликалось сердце Вологды на призыв Москвы.

Обязательно придите в белые ночи в сквер 800-летия, прислушайтесь к зову, идущему от веков, и преисполнитесь благодарностью к этой земле, частице великой родины — России.

Древнее и священное место!

Двадцать лет мы с женой-художницей прожили в башне старинной «цифирной школы», входящей в комплекс Вологодского кремля. Каждое

утро меня будили куранты звонницы и голуби, а летом — стрижи, а перед окном возвышался величавый Софийский собор. Собор вошел в мое сознание настолько зримо, что даже теперь, спустя многие годы, нет-нет да и мелькнет в окне белопенная София и явственно зазвучат куранты.

## МАСТЕРА

*Что на славной реке Вологде,  
Во Насоне было городе,  
Где, доселе было, Грозный царь  
Основать хотел престольный град  
Для своо ли для величества  
и для царского могущества...*

(Из народной песни)

## Дела приказные

В решетчатые окна архиерейского казенного приказа бил мелкий сухой снег. На улице темно, и только бой часов на новой каменной колокольне нарушал тишину.

За столом, залитом чернилами и воском, сидели двое. Один из них — черноволосый, с редкой бородой, в черном кафтане, другой — в коричневом, молодой и голубоглазый, с чуть пробивающейся бородкой.

— Скажи, Иване, кто сии часы утвердил? — спросил молодой.

— Наши русские люди, Ванюша. Исак Богданов, Засодимской волости плотник, с шестью товарищами утвердили часовое колесо, а часы с боем починил старец Михайле Кириллова монастыря, да что, Ванюша, починил — он их заново сделал: шестерни новые, бой колоколам привел, и стали часы на загляденье вологжанам.

— А ты, Иване, не помнишь, сколь им за это уплатили?

— Богданову один рубль четырнадцать алтын, а Михайле шесть рублей. Восковая свеча горела кротко, умиротворенно.

Старший — Иван Слободской, архиерейский певчий и летописец, коему владыка Гавриил указал вести историю города Вологды и окрестностей, задумчиво глядел на трепетный язычок пламени.

— Ты, Ванюша, хоть и разумен и подьячий, а все же по юности мало видел, а я по должности своей знаю и то, что было при наших предках, и то, что деялось страшного, о чем лишь в потаенных делах слово сохранилось.

— Мне дядюшка протопоп сказывал, что при владыке Маркеле в такой-то вот мороз девку голую в землю зарыли.

— Правду сказывал дядя твой. То дело в декабре было. По наговору молодую крестьянку Агрипенку, крепостную Корнильева монастыря, Маркел повелел за якобы убийство мужа в землю окопать до смерти.

— А може, взаправду, она мужа порешила?

— То сущая напраслина: умер муж от грибов, на ночь поел, да видно, поел много и от колিক богу душу отдал. А хозяйство у него было богатое, вот родичи и оговорили, дабы завладеть имением. Девка-то из бедных, за старого просватана.

— Будь добр, поведай.

— Ин, слушай. Зарыли ее на лобном месте неподалече от архиерейских палат. Окопали по грудь. Старосты присутствовали: земский Кузьма Панов и губной Данилов. Да снег еще стрельцы утоптали. Рядом поставили деревянную мису, дабы граждане вологодские подаяние клали на обряд похоронный. Видя сие, вологжане зароптали, стали теснить стрельцов, мерзлый снег в них пригоршнями кидать... Да ты сам, Ванюша, посуди, разве можно на сии муки младой невинной Агрипенки глядеть? Зачали кричать: идем к архиерею Маркелу, его-де монастырская крестьянка, долгон ослободить.

— Ну и что же, Иване, ослободили?

— А ты не перебивай. Темень была, смоляные факелы зажгли. Тут один старичок писарь был, упростили его составить челобитную на имя царя Алексея Михайловича, бумагу достали, и стал писарек при факеле отписывать. И пошел народ на архиерейское подворье. В церкви домовою архиерейской шло позднее служение. Маркел вначале отказал: не мешайте, мол, службе нашей. Народ загомонил; ослобони, а то сами откопаем. И писарек владыке челобитную сунул этак дерзко: читай, владыка.... Пришлось Маркелу распорядиться откопать женку. С бережением откопали Агрипенку, положили на овчинный полушубок, староста Данилов влил ей в рот глоток водки, зачали снегом окоченевшую растирать и принесли сюда, в судный приказ, где мы с тобой сидим. Пробыла в яме смертной Агрипенка несколько часов. К утру богу душу отдала.

— А ты, Иване, сие в летопись записал?

— Разве запишешь? Разве такое разглашать можно? Владыка нынешний Гавриил умолчать велел. Лишь грамотка Маркела боярину Репнину в Москву в делах архиерейских сохранилась, где Маркел писал, что к нему пришли вологжане, дабы разрешил тою женку из земли раскопать. Да-а... А теперича ждет Гавриил из Ярославля гостя — живописного мастера Дмитрия Григорьича Плеханова. Вызвал его преосвященный для подряда: покрыть стенописью Софию. О сем деянии, конечно, в летопись запишем, прославим не токмо мастеров, а и Гавриила.

И замолчал летописец Иван Слободской.

За решетчатым окном снег, ветер. В морозном тумане еле просвечивала луна.

### Государева дорога

Государева дорога от Ярославля до Вологды построена по указу Ивана Третьего, чей брат Андрей Меньшой был удельным вологодским, а затем передал удел старшему брату — великому князю московскому. Сам Иван Третий еще отроком жил в Вологде с отцом Василием Темным, ослепленным Шемякой.

Тянулась дорога от Ярославля через глухие леса, богатые монастырские пашни, через топи, мимо боярских усадеб и бедных крестьянских деревень. При царе Иване Васильевиче Грозном она обновилась. Многочисленнее стали «ямы» — ямские станции, где менялись лошади.

Скакали в Александрову слободу и в Москву с грамотами о посыле на Вологду всяческих припасов, ибо строил пресветлый царь в облюбованной им Вологде каменную крепость и кафедральный собор во имя Софии — Премудрости божией, украшение для всего царства и для посрамления государевых недругов — московских бояр и строптивых новгородских феодалов. Летопись гласит: «царь повеле соборную церковь поставить внутри града у архиерейского дома; и делаша ю два года: а колико сделают, то каждого дни покрывали лубьем и того ради оная церковь крепка на расселины». Каменное строение крепости освятили в день апостола Насона, и потому в песнях именовали Вологду Насон-градом.

По государственной дороге ездили и иностранные гости, и купеческие обозы, ибо лежала Вологда в центре Руси Северо-Западной, и вели пути и

проезжие, и водные на Пермь и к Устюгу Великому, к Соли Вычегодской — вотчине Строгановых, к Архангельскому городку, откуда морской путь вел в зарубежные страны и в англиское королевство, где на троне тогда сидела Елизавета Первая, которую, после ее вежливого отказа на сватовство московского царя, тот обозвал «пошлой девкой».

Запустила ярославская дорога в годы лихолетья панско-шляхетского, когда отряды захватчиков и «тушинских воров» грабили население Вологодского края, да и саму Вологду и собор зорили и жгли. При первом Романове, Михаиле Федоровиче, и «тишайшем» Алексее Михайловиче разбойничьи шайки нападали на обозы, и надо было ехать с превеликим бережением в сопровождении стрельцов или вооруженных слуг. А после Степана Тимофеевича Разина многие холопы боярские и помещичьи от батогов и тюрьмы бежали в леса и соединялись для совместного житья.

Вот по такой-то дороге в 1686 году вьюжным февралем из Ярославля по именному вызову архиепископа вологодского и белозерского Гавриила в архиерейском возке выехал в Вологду иконописец Дмитрий сын Григорьев Плеханов.

### Владыка Вологодский

У Гавриила к вечеру опухали ноги и уставало сердце. Был он роста среднего, широк в кости, одутловат, голубоглаз, лицом благообразен; бородка его рыжеватая с проседью, а волосы на голове густые. Немчин Иоганн Фридрих Мейер, что жил во Фрязинове, насупротив реки, где стоял дом Иоганна Гутмана, голландского консула и купца товаров аптекарских (а там была и лакрица, и финики, и даже для девиц марципаны), — так вот, лекарь Иоганн Фридрих, ставя Гавриилу пивявки и капая в чарку успокоительное из разных трав, говорил, подбирая русские слова:

— Вашему преосвященству необходимы прогулки по саду, отдых в кресле на воздухе. От долгого стояния на церковной службе и от постной пищи вред большой здоровью вашему приключается.

— Нельзя, лекарь, никак: пост и служба для монаха вроде воздуха — спасение души, — качал головою владыка.

— Спасение души, а не тела, милостивый господин епископ, — возражал лекарь. — Великий Гиппократ советовал...

— Что мне твой Гиппократ,— махал пухлой рукой Гавриил,— ты лучше скажи, Иоганн, что делать со стеснением в животе, третьи сутки в нужник не хожу, аж тошнота подступает?

Иоганн в соседней горнице, где в ларе хранились лекарства, приготовлял слабительное и, попросившись с владыкой, накидывал на плечи подбитую мехом епанчу, а на голову — трех беличий, садился на лошадь и уезжал.

Лекарь Иоганн, как и все немчины, уважал епископа — тот относился к иностранцам не только терпимо, но и поощрительно. Беседовал о торговле, никогда не заводил разговора о преимуществе православной веры над лютеранской и католической, читал по-гречески и латыни, и во Фрязиновской слободе о нем всякого мастерства люди отзывались почтительно и любезно: «Наш господин епископ, да продлятся его лета, мудрый господин и благожелательный — при нем жить можно без тяготы».

Вологда в конце семнадцатого была не та уже, что в начале века, когда епископ Сильвестр после погрома, учиненного в городе бандами польских и литовских воров, писал князю Дмитрию Пожарскому и Козьме Минину о том, что враги «город и посады выжгли» и что виновны-де в этом воеводы, ослабившие караульную службу. Пережила Вологда и пожар, учиненный воеводой Леонтием Плещеевым.

После подавления народного движения Степана Тимофеевича Разина (когда атаман даже в Ферапонтов монастырь к опальному патриарху Никону присылал казаков, чтобы освободить того из заключения и привезти к нему — атаману — для «общего дела»), Вологда купеческая и торговая, ведшая через Архангельск заморский торг, стоявшая в центре страны на путях в Сибирь и Великий Устюг, быстро отстроилась. Появились новые каменные храмы и купеческие палаты, а склады и баржи наполнились товарами из чужеземных государств, из Соли Вычегодской и Перми от Строгановых, из Великого Устюга и от батюшки Урала. В самой Вологде процветал богатейший купец Фетиев, заслуживший своими торговыми и благотворительными делами похвальный титул «Московского гостя».

А что бывали мор и голод в окрестных селах и деревнях,— то сие дело для воевод, старшин и церковных властей было извечным, привычным, и работали плотники, и каменщики, и пришлые бобыли «ради единого хлеба, безденежно». Строили архиерею кремлевские стены, а купцам и дворя-



нам затейливые деревянные дома на каменных фундаментах, и были те дома, как бревенчатые сказки, разукрашенные и деревянной кружевной резьбой, и просечным железом, с выгнутыми птицами сиринами, единорогами и львами.

В крытом сукном и кожей рыдване выезжал владыка Гавриил с архиерейского подворья, впереди на сером коне скакал стрелец с нагайкой и кричал: «Пади!» — и народ, видя архиерейский возок, крестился и кланялся, а владыка осенял их благословением.

Зимой и сухим летом в Вологде еще можно было ездить, а весной и осенью в распутицу — не дай бог, грязь по колено, в глине застревали колеса. С этим мирились: на то и грязь, божье соизволение, а если хочешь без проволочек — на коня садись.

Зато красивы многочисленные церкви, и по утрам и по вечерам висел над Вологдой золотой колокольный звон. Были такие искусные звонари, соборные и спасоприлуцкие, монастырские, что подолгу стояли, не шелохнувшись, на улице вологжане, восхищенно приговаривая: «Эх, и умудрил господь». Сам владыка Гавриил любил колокольный красный звон и лучшим мастерам приказывал выдавать суконные кафтаны с позументами, сапоги, а на зиму для отличия — катанки белые купеческие.

Одно угнетало Гавриила: в Софии — ах, до чего же храм прекрасен, ах, до чего же храм близок сердцу владычному! — нет в сем храме древнего украшения, стенной росписи, чтобы мог христианин православный в назидание уму и радость велию при созерцании дивных событий библейских и евангельских получать.

Ждал с нетерпением владыка приезда Дмитрия Григорьевича Плеханова, знакомого и почитаемого многими достославными иерархами и боярами изографа. А сколько запросит мастер с вологодской епископии за написание? А сколько припасу всякого понадобится? А главное — согласится ли Дмитрий Григорьев со своей артелью в Софии стенопись творить?

И вот, когда Гавриил у архимандрита в Прилуцком монастыре вкушал из серебряного ковша сухарный квас (умели его монахи готовить — и сладок, и в нос ударяет), приехал конный стрелец и доложил, что на владычное подворье прибыл в добром здравии ярославский изограф Плеханов.

Успокоенный известием, возвратился Гавриил в архиерейское подворье. Служка бережно поддерживал его под руки. Тут к Гавриилу бросился

старый крестьянин в рыжем потертом зипуне, и, сорвав с головы треух, опустился на колени, и ударился лбом в снег.

— Чего тебе, сыне?

— Смилуйся, преосвященный владыка,— хрипло заголосил крестьянин: — Смилуйся, совсем обнищал, а твоего Прилуцкого монастыря старец Серапион последнюю корову отобрал, детишки от голода плачут, женка больная на полатах лежит... Сделай милость, прикажи корову воротить!

— А в чем ты провинился перед отцом Серапионом?— морщась от боли в ноге, спросил Гавриил.

— За долги, преосвященный владыка, не полностью внес. Веришь, последнее отдал, сами на мякине сидим... Прикажи!

— Не могу, сыне, как тя звать?

— Никифор Андреев, всю зиму, почитай, по велению монастыря лес валил, одежка изнасилась, осемь пар лаптей сносил, овшивел весь, коростой покрылся...

— Бог труды любит,— отвечивал Гавриил,— а в дела монастыря входить не могу! Кланяйся отцу архимандриту, дабы он милость ты оказал и отцу Серапиону приказал с долгом повременить, а ежели с вас всех долги снимать, то как монастырю жить? Он за вас перед богом заступник.

— Владыка милостливый,— запричитал Никифор,— твой архимандрит глух к нашим просьбишкам, во всем полагается на отца Серапиона, а тот аки лютый зверь — все ему подай...

— Благослови ты, Никифор, господь! Не вводи меня в сумление, не клевети на отца Серапиона.

Тягостен был Гавриилу разговор с крестьянином, но он знал, окажи послабление одному, завтра же десятки таких придут на архиерейский двор со своими просьбишками. А монастырю на что жить? На что храмы украшать?

Гавриил благословил склоненную голову Никифора и молча проследовал в свои покои.

### Мастера с Козлены

На Козлене, слободке грязной, всегда пыльно. Едкая пыль оседала на бороды, на шапки, на платки, летом лежала на крышах, а при ветре поднималась тучей, забивала глаза,— вот какая пыль на Козлене.

Издавна Козлена считалась слободой бунтарской. Воеводы и стрелецкие сотники, земские старосты и купцы побаивались посадских и рабочих с Козлены. Здесь и в медный бунт, и в соляной, и в разиновский всегда горланили мужики, отсюда тайком шли парни на Дон и Волгу, отсюда ночами на дошаниках переправлялись к Степану Тимофеевичу канаты крепкие, смоляные, что любую ладью удержат; да что ладью — целый корабль.

Веревку здесь делали всякую — от тонкой до якорной. На все московское царство славились вологодские просмоленные канаты из отличной пеньки.

Жил на Козлене старый мастер Ефрем Андреевич Чучин, уважаемый на весь посад. Был он вдов, сын давно переехал в Устюг, и осталась у Чучина дочка восемнадцати лет — Евдокия, умная девка, бой-девка, глаза голубые с поволокою, а коса, ах, эта коса, девичья краса, до пояса, как лен, коса; характер, да уж характер — прямой, без лжи и утайки. Песни-то пела, ох, господи, как пела! И стар, и млад, и купец, и посадский молодец, и дьяк — все заслушивались Дуню.

Не жаловала Дуня только никонианское духовенство. Была она, как и отец, веры истинной, благочестивой и память мучеников старца протопопы Аввакума и иже с ним старицы Феодосии, в миру боярыни Морозовой, чтила.

Вышивала Дуня прелестные воздушы и платы для скитских храмов и посылала их на Белозеро и на Сухону, где в лесах отдаленных тотемских и тарногских святые обители древнего благочестия, как алмазы веры, сияли нетленным светом.

Грамоте девушку обучила мать Сосипатра из Белозерского скита, что две зимы прожила в большой и теплой избе Чучиных. Было это сразу же по смерти жены Ефрема Андреевича, и Сосипатра в особой кладовушке, где стояли аналой и иконостас, молилась вместе с хозяином, Дуней, стряпухой Маврой, дворником Митрием, пятью подмастерьями и подростком-учеником.

Ефрем Андреевич считался мастером первостепенным. Его мастерская стояла во дворе, а в деревянной пристройке хранились разных сортов канаты, веревки. Тут была и конюшня с жеребцом, в хлеву корова, овцы, в заутке птица и горластый огненно-рыжий петух и пес Полкан в конуре. На краю обширного ухоженного огорода стояли баня и смолокурня.

Дуня считалась невестой богатой, и многие сватались к ней, и не только из посадских, а и купецких сыновей. Один молодой стрелецкий сотник сваху засыпал, а Дуня смеется — подожду еще. Сам хозяин отвечал свахам:

— Дуняша у меня в дому не лишняя, не перестарок, единственная богоданная дочь, так пусть цветет, а там видно будет, все в господней воле.

Вечером при свече восковой читала Дуня домашним, да приходили и другие мастера, те, что по древлей вере. Любили слушать Дуняшино взволнованное чтение. А читала Дуня в книгу переписанные увещевания блаженного Аввакума к царю покойному Алексею Михайловичу — сынок которого, царь Федор, лютой смерти огненной Аввакумушку предал. Были в книге такие слова грозные:

«Перестани де государь, проливати крови неповинных, пролей в то место слезы, угаси пещь, палящую рабов христовых в Боровске и в Казани; с воздыханием из глубины сердца расторгни узы сидящих в темницах и изведи живых закованных в землю.

О царю Алексею! Покажу ли ти путь к покаянию и исправлению твоему? Иной тебе так не скажет, но все лижут тебя — да уже слизали и душу твою. Ведаю разум твой; умеешь многи языки говорить, да што в том прибыли? Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком, не унижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах».

Слушали благоговейно, дивились силе слов Аввакумовых. С самодержавцем, великим государем — и так разговаривать! Ай, силен Аввакумушка, силен святой протопопище! Когда расходились и в избе оставались только почетные старики, разговор касался дел сугубо сложных.

— Почему так, свет ты мой Ефрем Андреевич, Никон-то — враг лютой Аввакумов и святой веры, а его Степан Тимофеевич на Дон звал, сулил место патриаршее.

— То, други, хитроумие Степана Тимофеевича. Никон от царя пострадал, у него, у Никона, власть великая была, он ведь не из боярского племени, а природный кержак, крестьянин, даром, что учен.

— Теперя в Москве Софья Алексеевна (цари-несмышлениши — Иван да Петр), вкупе со старым кобелем патриархом Иоакимом, многих чернецов, коих стрельцы поддерживали, побили, а попа Никиту люто казнили. Тут стрельцы промашку дали, испугались, когда бояре да дворяне закричали, что будут стрелецкую слободу зорить.

Слушала такие беседы Дуня, слушала, запоминала, и казались ей никониане антихристовым порождением, казались, но не все. Был один молодец, по виду приказный, казенный человек, никонианец и, возможно, трубокур, да ничего не поделаешь — пришелся по сердцу, припекся крепко, не оторвешь. И знать его не знала, а у реки на бережку встретила, два словечка промолвила, и во снах стал чудиться и в молельне — тьфу, тьфу окаянного. Окаянного-то окаянного, а сердцу милого. Всякое в жизни бывает...

На Козленой улице — древнее благочестие и крепкий посадский люд, друг за друга стоят и в обиду своего не дадут.

Вот что значит Козленая слобода.

### Дмитрий Плеханов

Изограф Дмитрий Григорьев Плеханов понравился Гавриилу. Опрятен, даже наряжен, вежлив, говорил по-ярославски мягко, с закруглениями, и, сразу видать, дело свое знал досконально.

Пошли в собор. Взял с собой владыка певчего — Ивана Слободского, что вел с тщанием книгу, именуемую «Летописец Вологодский».

Окна алтаря смотрели на северо-восток, на реку. Так велел царь Иван Грозный, и это удивило иконописца. По канону, алтарь всегда обращен на восток, но царю пожелалось, чтобы он смотрел на реку. Так было красивее.

Храм холоден и велик.

Голоса звучали в нем гулко, отдаваясь эхом.

— Много работы, владыка, в сем храме, — сказал Плеханов, подрагивая от холода. (Шубу он оставил в архиерейском доме, и на нем только зеленый суконный кафтан да на ногах валенки шегольские, расписные.)

— На западе, — владыка, как бы не слышал слов изографа, — след страшный суд изобразить во всю стену. И прошу тебя, любезный друг Митрий, особливо выдели архангелов, вострубивших о справедливом суде господнем.

— Так, владыка преосвященный.

— А штиль письма столповой, прославляющий Софию — Премудрость божию. Покажи, друг Митрий, пренебесную славу Христа и его божественной матери, покажи и их земную жизнь, и акафист богородичий.

— Так, владыка преосвященный, ведомо мне, что писать. Только разреши в хоромы пойти, задрог.

— Ин, ладно,— нехотя согласился Гавриил. Ему хотелось подольше побыть в соборе, хозяйским глазом еще осмотреть. Смушал владыку иконостас: пообносился очень, надо новый ставить. Выходя на улицу, молвил укоризненно:

— Больно ты зябок, Митрий Григорьев.

В архиерейском домашнем покое тепло, печка кафельная с изразцами букетного узора накалена. У икон в серебряных окладах мерцают лампы, пахнет кипарисом и росным ладаном — любил владыка этот запах.

— Ну а теперь давай рядиться: сколько возьмешь, каковы твои условия, какова твоя артель?

Гавриил сел в кресло, указав Плеханову на лавку. Плеханов сел шепотно, бочком.

— Артель моя, владыка, тридцать мастеров. С божьей помощью за два лета справимся.

— Надо стенописанием покрыть весь храм: и своды, и алтарь, и осьмерики, и окна. Сдюжите ли за два лета-то?

— Мы, ярославские, сдюжим,— улыбнулся Дмитрий Григорьевич.— Сначала надо левкасить, гвоздьями подбить.

— А сколько, к примеру, гвоздьеv понадобится?— поинтересовался Гавриил.

— Сколько? На такую махину гвоздья тысяч сто пятьдесят али того больше. Работы посчитай, владыка!

Изограф стал загигать пальцы.

— Перво-наперво, очистить стены от извести. Второе, околотить стены гвоздьями, на коих левкас должен держаться. Третье, стены левкасить...

— Ладно те,— вздохнул владыка,— сам знаю, трудоемкая работа. Сколько поясов предполагаешь написать?

— Да уж не впервой мне. По соборным размерам, в алтаре да и диаконике — по четыре пояса, в жертвеннике — пять, а храме — по шести.

— В нижних поясах на столпах изобрази благоверных защитников земли нашей — князей русских.

— Все будет в благовремени. Только придется, владыка, проемы оконные увеличить, дабы свет на живопись ложился. Ты сам сие знаешь: в Москве архимандритом служил, понимаешь зело благолепие.

Гавриил был польщен:

— Знаю, Митрий Григорьевич,— сказал с «ичем», уважая иконописца,— знаю, что ты славный мастер, не подведешь. Цена-то какая? Мы с тобой вокруг да около ходим.

— Тысяча осьмсот рублей,— Плеханов лучисто посмотрел в глаза Гавриила,— меньше никак нельзя, в июле и приступим к писанию, а до того все надо подготовить.

— Господи!— Гавриил нарочно удивился.— Что ты, окстись, любезный, тысячу триста можем дать от нашего недостойнства, храм-то божий украшаешь, Митрий, пойми!

Рядились долго, еще раз осматривали собор, совещались о том, что писать в верхних поясах, то есть в поясах первых (счет поясов шел сверху). Решили, что в сводах надлежит быть великому поясному изображению Спасителя благословляющего, с надписью по нижнему краю всего осьмерика: «Пречистому твоему образу поклоняемся, благий».

Наконец 26 марта 1686 года в утро солнечное, когда воробьи шумно безумствовали на архиерейском дворе, а голуби томно ворковали на карнизах, в палате казенного приказа после молебствия, что служил отец Иосиф, ризничий соборный, был подписан наряд. Архиерейский дьяк, преисполненный важности, гнусаво читал бумагу, скрепленную красной печатью:

«Подрядился на Вологде соборную церковь и с алтарем и с приделы подписать стенным писмом ярославец иконописец Дмитрий Григорьев сын Плеханов: ряжено ему от того всего стенного писма 1500 рублей; дано ему, по рядной записи, наперед 400 рублей. Да ему ж иконописцу Дмитрею Григорьеву к тому стенному писму дано на покупку гвоздя восемьдесят тысяч пятьдесят рублей».

В домово́й трапезной отец казначей угощал Плеханова медом, крепким, вкусным и до того прозрачным, что в серебряной позлащенной чаре он светился таинственно и проникновенно. А на блюдах разложены постные яства: стерлядка шекснинская, сметки белозерские, рыжики устьянские один к одному, с лучком, ну и, конечно,— икорка, без нее архиерейский стол — не стол.

Когда установилась дорога, на сытых монастырских конях в мягкой кибитке, сопровождаемый двумя вооруженными послушниками, Плеханов выехал в Ярославль.

Весенняя дорога была более оживленной, чем зимняя. На полях работали мужики, запаренные лошадки старательно таскали деревянные сохи. По мокрой вспаханной земле важно, глянцевито отливаясь на солнце, выступали грачи, и убогие деревеньки, крытые соломой, казались помолодевшими.

Так только казалось. Мужик знал, что работает на помещика или на монастырь, что лучшая часть урожая пойдет господину, он это знал, но все же работал с упоением, работал до потери сил. Под домотканой рубахой напряжинивались мускулы, пот выступал солеными каплями, и все же он работал, изредка смотрел на солнце, прикрывая глаза мозолистой ладонью. И Сивка, вечная каурка, низкорослая, рыжая, помахивая куцым хвостом, напрягая силы, помогала своему хозяину, помогала в самом святом крестьянском деле — выращивать хлеб для державы Московской.

### Ледоход на Вологде

Ледоход в 1686 году на реке Вологде был страшный. Лдины с шумом бились о берег, громоздились друг на друга, раскалывались. Большие плыли посреди реки. На них видны следы полозьев, сено, жерди. На навозе прыгали воробьи и галки, и в воздухе стоял, как колокольный перезвон, ледоходный перестук.

У дома Гутманов и у ближней на берегу церквушки глазел на реку вологодский люд. Тут и Дуняша с подружками лузгала тыквенные семечки. И, конечно, невдалеке от девиц — парни в распахнутых полушубках и шапках набекрень. По голубому небу — белые барашки.

И опять Дуня увидела его поодаль от парней. В коричневом теплом кафтане, в зеленых юфтяных сапожках, по всему облику — служилый человек. Лицо у него доброе, а борода шелковистая, русая, мягкая, и доброджелательно смотрит он на Дуню.

Она тоже на него взглянула. И от того Дуняшиного взгляда улыбнулся молодец, подошел ближе, снял шапку, бобром отороченную.

— Здравствуй, красавица!

— И ты будь здоров.

Дуня как бы ненароком, как бы очарованная рекой отошла от подруг ближе к барегу. Рядом он очутился. Заговорили. Кто да откуда. Дуня



сказалась отеческой дочкой Ефрема Андреича Чучина, а он — так и знала, так и чуяла — никонианец Иван Миронов из архиерейского дома, приказной подьячий. С таким не только разговаривать, на него и смотреть зазорно.

— Да разве дело в том — никонианец я или старовер? — спросил Иван. — Пойми, Авдотья, одна вера есть христианская, а все иное только суеверие. Нам, молодым, оно ни к чему. Пусть уж келейные старцы да церковники из-за буквы спорят.

— Вы шепотью молитесь, кукиш небу кажется, — возразила Дуня.

Иван промолчал.

— Чего приумолк, парень, али возразить нечего?

— Эх, Авдотья Ефремовна, нам бы не о том, как персты складывать, а о себе поразмыслить. Ты мне сразу по сердцу пришлось, да и я, видать, тебе не поперек горла, чем препираться, постоим, помолчим, на реку полюбоемся.

Иван ближе придвинулся к Дуне, взял ее руку в варежке и пожал. Она покраснела, но не отодвинулась. Так и стояли без разговора. Да какой тут разговор, ведь на небе солнце, а на реке веселый ледоход.

...Вечером дома у дяди Михаила — священника церкви Герасима, что на Ленивом торгу, Иван поведал о староверческой девице Авдотье. Михаил, рано облысевший, но с густой черной с проседью бородой, в домашнем домотканом подряснике, сидел на лавке и кушал простоквашу из глиняной миски, откусывая от большой ржаной лепешки. Он был опекуном Ивана, отец которого — посадский человек из Верхней слободы, поверстанный на государеву службу в рейтарский полк писарем, — погиб в украинской степи в походе на орду.

Слушал Михаил племянника задумчиво, шевеля бровями. В Иване он и попадья Мария Даниловна души не чаяли. Их единственная дочка Маша скончалась от черной оспы, и стал Иван старикам за сына.

— Ты бы, Ваня, владыке докучался с просьбишкой и со старшим другом своим Иваном Федоровичем Слободским посоветовался. Слободской у архиерея не токмо любимый певчий, но и летописец, а ты ему в сем великом деле — помощник.

Михаил поднял кверху указательный палец:

— Это понимать надо, все одно, что Нестор Киево-Печерский. Ну и то в расчет возьми — отец у Авдотьи мастер, я и то о нем слышал, богатый

хозяин. Он хотя и старой веры, но с никонианцами водится, не чурается. Там ведь не только по старообрядческому живут, а и в церковной приходской православной молятся и особой разницы не делают промеж себя, одним и тем же занимаются — канаты смолят. Так что, Ванюша, похлопочи у архиерея Гавриила, даром что он лишь два года пасет епархию, и немчины, и православные, и по древлей вере — уважают и почитают его.

— Невместно, батя, в такое приватное дело владыку вмешивать, он-то ведь монах.

— Монах-то монах, а любил когда-нибудь. Не может мужчина, чтобы хоть и в сновиденьях, а о девицах не думать. Когда я, грешный, в Ярославле обучался духовному обиходу, мой приятель, ныне ярославский настоятель, пел кантату, кою распевали в Киевской академии.

И отец Михаил, грустно улыбаясь далеким милым воспоминаниям, надтреснутым басом провозгласил:

От дивчины отлучили  
И в монахи посветили,  
Ах, Боже, Боже, ах,  
Ах, как жаль, что я монах!

— Вот так-то, сынок Ванюша...

— Ладно, батя, поговорю со Слободским. Да суть еще в том, что упорна Авдотья Ефремовна в старой вере. А я без нее страдаю.

— Хороша та девица, Ванюша?

— Не спрашивай, батя. На слободу, да что на слободу, на Вологду такой не сыщешь.

Они беседовали допоздна, пока не пришла матушка и не послала их на опочив.

### Мастер «Страшного суда»

В конце июля в Вологде стояла неимоверная жара, дождя не предвиделось, и все кругом: и листья на деревьях, и трава на пастбищах, та, что не успели скосить, поблекла и пожухла. А в соборе прохлада. А в соборе пахло мокрой штукатуркой, и шел от еловых досок густой смоляной дух.

Дмитрий Плеханов и его артель приступили к работе в Ильин день. Стояли живописцы на шатких лесах и сводили на левкас очертания (графы) фигур, чтобы затем накладывать цвет\*.

Расписывали собор по заранее составленному «знаменщиком» — старшим мастером — и обсужденному артелью композиционному плану. Расписывали на тех местах, где уже был левкас. Стены левкасили в течение двух лет, до конца работы живописцев, ибо артель Плеханова писала только по мокрой подготовленной штукатурке. Левкасили каменщики Корнильева монастыря и засодимцы. В приходо-расходной книге Софийского собора указывалось, например, под «августа двадцатого числа»: «Засодимцы, каменщики работали, в соборной церкви под письмо левкасили стены, Сенька Трефилов, Ивашка Васильев четыре недели, шесть дней, дано им по найму за работу по тридцать два алтына, по две денги человеку, и того обоим один рубль, тридцать один алтын, две денги».

Таких записей было много. За всю работу каменщикам уплачено сто двадцать рублей.

— Без мирского суда не бывать доброму, — говорил Плеханов Гаврилу. — Великое дело стенопись соборная, и артель в нее вкладчик, и душа должна гореть у каждого.

— Правильно рассуждаешь, мастер, — хвалил владыка Плеханова. — Мир миром, а все же ты подрядчик и спрос буду держать с тебя, а не с артели.

— Понятно, я ответчик.

Плеханов расчесал гребешком бороду.

— Может, владыка, сие мое последнее рукописание. Борзо мыслю о премудрой Софии и западную стену сам исполню. Ты только не ставь сему препон. Страшный суд изображу тако, что будет оная картина не токмо в назидание православным, а и память об иконописце Дмитрии.

— Есть ли у тебя наметки стенописи сего Страшного суда?

---

\* «Стенопись вологодского Софийского собора исполнялась техникой, общепринятой в то время для русской монументальной живописи и основанной на со-  
вмещении фрески, то есть живописи, по непросохшему левкаскому грунту, с последующей работой темперными (клеевыми) красками». Из книги: В. Банниге и Н. Перцев. Вологда. Архитектурные и древние фрески Вологды. «Искусство», 1970.

— Да сам ты, владыка, приказал архангелов выявить, а я мекаю, надо их сделать центром картины. Уподобить твоего тезку Гавриила грому гремящему.

Глаза мастера вспыхнули сине, аж владыка вздрогнул.

— Чтобы люди поняли и восчувствовали сей последний суд нелицеприятный, справедливый, для всех почивших отцов и братьев наших, встающих из праха в плоть и равный для царей и князей, богачей и архиереев, прости слово мое, владыка, ибо троица святая скорее снизойдет до нищего и убогого, нежели до бояр и князей. Сказано убо: кому много дано, с того много и спросится.

Гавриил удивленно взирал на иконописца; всегда спокойный и вежливый, Плеханов ныне превратился в одержимого — и глаза сверкали, и голос прерывался от волнения.

— И все изобразишь?..

— Так, владыка. Оно, конечно, изображение праздников использую и по книге Пискатора, а одеяния, вестимо, русские, богатые, и обычай не заморский — московский.

Плеханов, в мягких сапожках, неслышно ходил по архиерейским хорам. Сапожки летние, шаровары аглицкого сукна, рубашка льняная с узором, и кафтан легкий синий. Если бы не седина в волосах да морщины сеточкой у глаз — совсем молодцом был бы Дмитрий Григорьев.

Гавриил понимал, что мастером овладела живописная страсть и что это на пользу храму.

— Знаемо ли тебе, Григорьевич, роспись Дионисия со чады в монастыре Ферапонтовском?

— Знаемо, я из Вологды на дощанике сплыл с пятью артельными, поклонился и Кириллу Белозерскому, и Ферапонту с Мартемьяном, роспись Дионисия лицезрел с благоговением перед даром, коим господь на склоне его дней сподобил. Токмо, владыка, писать в Софии по своему разуму буду.

— По своему разумению делай, Григорьевич, ни я, ни казначей Афанасий не будем вмешиваться в твое искусство... — он милостиво отпустил Плеханова.

В соборе работали. При виде Дмитрия обернулись. Семен Фомичев, старейший в артели, с болезненным желтым лицом, в посконной, заляпанной краской рубахе, крикнул с лесов:

— Хозяин, седни и вечером пишем. Сделай милость, позаботься свечами-то.

Раздавался стук молотков. Словно огромный дятел долбил железным клювом старинный камень. Пять мастеровых прилуцкого монастыря проламывали к окнам, для света, стены. Затем они должны были вновь те окна с решетками построить и под стенное письмо подмазать.

Когда темнело, зажигались восковые толстые свечи, приносил их свечник Мишка Ларионов.

И осенью в соборных окнах золотился свет и плыл он по реке, задумчивый и немного печальный.

Шли дни, недели...

### Вологодский летописец

Иван Слободской любил смышленного и искренне преданного ему юношу Ваню Миронова. И на другой день после разговора с ним оделся парадно, расчесав густые черные волосы и бородку, не слеша пошел — благо недалеко — в архиерейский дом. За ним увязался его пес Балуй, черный, с белой проплешиной на лбу.

Гавриил принял Слободского ласково.

Иван докучался к Гавриилу с просьбишкой: полюбил, дескать, подьячий Иван Миронов Авдотью Ефремовну — единую дочь знакомого мастера канатчика Ефрема Андреева Чучина, что состоит в древней вере.

Гавриил, человек столичный, книжный, в глубине души считал, что раскольники нисколько не хуже, а может быть, даже и лучше православных церковных: у старообрядцев и семьи крепкие, и табаку не употребляют, как ныне, не только молодые, а и зрелые мужи, да и пьяниц среди них меньше. Плохо то, что они до своей веры лишку подвержены. И вспомнил Гавриил Аввакума, пастыря заблудшего, но умнейшего и жестоко пострадавшего. Гавриил хотя и строг был, но полагал, что языки резать и живьем сжигать за то, что мыслит не так, как патриарх Иоаким, не годится, и что не по православным канонам уподобляться иезуитам, сжигающих еретиков с благословения святой церкви на кострах.

Ивана Слободского Гавриил отмечал за уменье кратко излагать события гражданские и церковные в летописи вологодской, за честность и справедливость.

— Рад бы помочь те, Иван, да и парня знаю: скромн и начитан зело, книжник.

— Спасибо, владыка, что не отвергаешь моей просьбицы.

— Не печалься, Иване, авось что-нибудь и придумаю. Мекаю съездити по Сухоне в соседнюю епархию — в Устюг, так вот надо мне мою архиерейскую ладью в порядок привести, буду рядиться с канатным хозяином, понял?

— Понял, владыко, позвать к твоей милости Чучина?

— Так я с ним потолкую. Неповадно архиерею сватать невесту, но уж возьму грех на душу.— И суровый архиерей улыбнулся.

У ворот Слободского терпеливо ждал пес. Года три назад соседский малец вел его на веревке к реке топить: пес загрыз куренка. Иван пожалел собаку, уж больно умоляюще смотрела, и взял в нахлебники. Пес так привязался к Ивану, что не мог и дня без него прожить. При виде хозяина Балуй умильно раскрыл свой зев и тонко, что не шло к его комплекции, взвизгнул — как будто засмеялся. Они пошли по Соборной горке на свое подворье.

В горенке Слободской присел к столу. Там — чернильница, песочница, чинно в песочницу воткнуты гусиные, по-разному заправленные перья. На поставце свернутые рукописи. Гавриил разрешил Слободскому иногда писать не в казенном приказе, а дома.

Раскрыл шероховатые листы рукописи. Кое-что записанное третьего дни вымарал. Была одна запись о монашке Корнильева монастыря: послушник Гаврасий непотребно обзывал отца игумена козлом вонючим, иудой и мучителем! Тот велел его смирить плетью и посадить в земляную тюрьму. Гаврасий после наказания удавился в монастырском лесу. Вчера владыка прочитал сие и поежился:

— Верно, превысил игумен меру наказания, попеняю его, епитемью келейно наложу, но запись ты вычеркни, ведаю, что плох игумен, а где лучших возьмешь? Вызывал я трех священников из Белозерского уезда, мздоимцы и пьяницы, а один из них — Егор Воздвиженский — читать грамотно не может, через пень-колоду несуразит. Горько мне, Иване, от таких попов...

И пришлось Ивану вымарать запись про Корнильев монастырь.

В летописи были сведения примечательные и о голоде в земле Вологодской, о повальном море, о воеводиных неправдах, и о цене на зерно и

мясо, и о том, как при предшественнике Гавриила епископе Симоне строились каменные стены вокруг архиерейского подворья и как работали крестьяне: «ради единого хлеба, безденежно».

Много записей горьких оставил на рукописи «Летописца вологодского» Иван Слободской. Но были и сведения гордые о всей земле Млсковской. Вел их Иван от создания града Москвы: о Дмитриии Донском, о том, как северные дружины ходили на Куликово поле бить хана Мамаю. Были записи и о великом государе московском Иване Третьем и о брате его Андрее Меньшом — удельном князе вологодском, что оставил удел старшему брату, и об Иване Васильевиче Грозном, возлюбившем град Вологду паче других городов и украсившем ее Софией и крепостью. Много было записано в летописи вологодской и хорошего, и печального: о шайках Лжедмитрия и Тушинского вора, о воеводе Плещееве — любимце царя Михаила Федоровича, что град Вологду пожег, кроме посадов дальних. Записал Иван Слободской и о Дмитриии Григорьевиче Плеханове.

Чтобы отвлечься, прочитал Иван запись о «пешном действе», свершаемом перед рождеством только в трех соборах: в Москве — в Кремле, в новгородской и в вологодской Софии. Свершалось оно до второй половины семнадцатого века, и теперь его помнили лишь старики.

В «пешном действе» участвовали три иудейских царевича: Ананий, Азарий и Мисаил, ввергнутые в Вавилоне за отказ поклоняться идолу в огонь. Посреди собора ставилась печь из дерева в виде круглой открытой сверху башенки, внизу печи — горн с горящими углями и множеством свечей. Слуги вавилонского царя — «халдеи» — спускали туда трех юношей, одетых в стихари и украшенных венцами, причем халдеи в красных одеяниях разговаривали между собой:

- Товарыш! Это дети царевы?
- Царевы.
- Нашего царя повелений не слушают?
- Не слушают.
- И телу златому не поклоняются?
- Не поклоняются.
- И мы кинем их в печь?
- Кинем в печь и станем жечь.

Халдеи из железных трубок бросали в печь стертую в порошок и легко воспламеняющуюся траву плаун. Но тут в печь спускался ангел (его фигу-

ру вырезали из двух сшитых кож и на них с обеих сторон писался лик ангела). Халдеи опять спрашивали друг друга.

— Товарыщ, видишь ли?

— Вижу.

— Было три, а стало четыре, а четвертый ликом грозен, как он прилетел, то нас и победил.

И отроков, прославлявших бога, халдеи выводили из печи со словами: «Грядите, царевы дети...»

Пес Балуй лежал в садике у окон горницы Ивана. Когда тот засветил свечу, Балуй поднялся на задние лапы, положив передние на карниз, и залаял. Иван открыл окно, погладил пса, и тот, благодарно лизнув ему руку, снова успокоенный, лег на траву.

В другом конце города — на Козленой, в усадьбе Чучина, в светелке девичьей, у иконы, где мерцал огонек лампы, стояла Дуня. Надо отбивать семипоклонный начал, а она думала о подьячем Иване, и не шла на уста успокоительная молитва.

Не спал и молодой подьячий. Вышел на крылечко — и, вздохнув запахами сирени, травы и реки, задумался.

### Сватовство

Гавриил сдержал слово, данное Слободскому, и когда по вызову к нему приехал канатный мастер Чучин, принял его ласково и усадил на лавку. Поговорили о деле — надо к владычной ладье и на прочие баркасы канатов крепких. А затем владыка спросил:

— Скажи, Ефрем Андреевич, семья у тебя большая?

— Одна дочка, девица Авдотья.

— Женихи, поди, есть?

— Как не быть, владыка, я чать не нищий, Авдотья не перестарок.

— Ты, Андреич, кажись, старовер?

— Прости, владыка, ведаю, что не осерчаешь, живем по старой вере.

— Христос у нас один и вера одна — христианская, Ефрем Андреевич.

— Вестимо, батюшка, вестимо, — согласился Чучин, понимая, что неспроста завел с ним беседу Гавриил.



— Я к тебе, Андреич, хотя и не по чину мне, архиерею, сватом,— немного смущаясь и отводя глаза в сторону, сказал Гавриил.

— Честь великая! — Чучин встал с лавки и снова сел. — А жених-то кто?

— Мой подьячий из рода посадких Иван Миронов. Молод еще, а разумен, аки муж. Я его не оставлю своими милостями, да дядя его, протопоп с Ленивого торгу, достатки имеет хорошие, так что жених не голяк.

— А знает ли молодец мою Дуню?

— Встречались они.

— Где же встречались? — недовольно буркнул Чучин и помрачнел.

— Не сердчай, Ефрем Андреевич. Тут никакой порухи нет.

Разговор кончился тем, что Чучин согласился принять на дому Ивана и в присутствии Дуни выяснить отношения.

— Невольить едину дочь не буду. Коли согласна — ей жить, а ежели не захочет за никонианца выходить — ее право.

На другой день Миронов приоделся и поехал на Козлену.

Иван в ворота чучинского дома не въехал. Соскочил с коня и, сняв шапку, чинно пошел к дому. Когда в дверях появился Чучин, Иван низко поклонился, пожелав хозяину и всем домочадцам здравия на долгие годы. Чучин провел молодого книжника в горницу и долго с ним беседовал, угощая медом и домашней снедью.

Ефрем Андреевич уважал людей грамотных, умных. С удовольствием заметил, что Иван и почтителен, и всей своей статью, видать, не робкого десятка. И чем дальше шла беседа, тем старый канатчик благосклоннее становился к Ивану.

— Ин, ладно, Иван, по нраву ты мне пришелся. Одна беда — не нашей веры. Пойду кликну Дуняшу. А молвить правду, от такого сына я не откажусь.

Дуня в светелке плакала. Ночью ей приснился страшный сон, будто старая-престарая монахиня присела к изголовью. «Авдотья, — сказала монахиня, — я с того света от твоей маменьки Анны Ильиничны. Божья душенька раба Анна не велела за никонианца выходить, а покрыть власы черным куколем и быть христовой невестой»... И старица исчезла.

Проснулась Дуня с криком, накануне же радовалась, когда отец поведал ей разговор с епископом. Думала, Ваня, видать, добрый, не обидит, а что — никонианец, то простит господь мою молодость и не осерчает бо-

городица. Молиться буду по старине. Ваня препятствовать не станет, не таков он человек... И вдруг такой сон. Веший сон, со старицей.

Ах, зачем приснилось, зачем! Разве сможет быть теперь она невестой архиерейского подьячего, разве не осудят ее силы небесные и маменька-покойница? Отец вчера ласково сказал: — «Надень, Дуня, мнисты, колечки и сарафан шелковый!..» Теперь не надо надевать убранства.

Сидела Дуня в светелке, в стареньком сарафанчике зеленом и белой рубахе. И в таком виде была она мила, может быть, лучше, чем в шелку.

В светелку вошел Ефрем Андреич.

— Дуня,— улыбочиво проговорил,— Дуняша, женишок-то пришел. По душе он мне. Неволить тебя молиться по-своему не станет. Только свадьбу сыграет в церкви.

Дуня зарыдала.

— Ты что? — прикрикнул отец.— Что ты, Дуня, и не прибралась, и плачешь чего?

— Ах, батюшка, ах, родимый! Вековать, видно, мне вековухой, не иметь тебе, голубчик батюшка, внучат, а покрыть мне голову черным куколем.

И Дуня рассказала отцу про страшный сон.

— Чуешь, батюшка, не будет материнского благословения, свежи ты лучше меня по большой воде в Гарногу, в обитель старицы Гликерьи, и буду я там в лесах за тебя господу богу молиться.

Чучин побледнел, сел на лавку.

— Ты что, в монахины? Отца оставишь? Для кого хозяйство собирал? Для кого сундуки копил, денно и ночью трудился? Одумайся, Авдотья, сон твой не от бога, покойница Анна говаривала: «Дожить бы нам до внучат, вот счастье». Дурак я седой, отдал тебя на воспитание старице Сосипатре и сам ее слушал.

И стал старый вытирать кулаком глаза.

— Постыдись, Дуня! — поднялся и, не глядя на дочь, вышел из светелки.

Иван в большой горнице ждал решения своей судьбы. Отец долго не шел. Неужто отказ?..

Вошел Ефрем Андреевич. Сумрачный, глаза покрасневшие.

— Верно, догадываешься, Ваня?

— Догадываюсь, Ефрем Андреевич. Не судьба...

Подьячий поклонился Чучину.

— Благодарствую, и нет тут твоей вины.— Опустив голову, пошел к выходу и не заметил, что из светелки выскочила Дуня, выскочила, как была в затрапезе, с косою распущенной, выскочила и бросилась ему на шею, обняла, плача и смеясь.

— Не уходи, Ваня, люб ты мне, буду тебе верной женой.

### Тайны монастырские

Свадьбу молодых Мироновых справили скромно. В угоду старику Чучину при венчании соблюдали древние обряды: водили жениха и невесту посолонь, вино они пригубили из стеклянной чары и тут же раздавили ее в церкви каблуками. Молодых осыпали зерном и хмелем — все, как до Никона.

Жить молодые стали у дяди Михаила на Ленивой площадке, у церкви Вознесенья. Дом был поместительный, обжитой.

Ваня Миронов привязался к Дуне, да и та во всем угождала ему, а к своему старшему другу Слободскому Миронов питал такую благодарность, так старался быть полезным, что тот сказал:

— Ты, Ванюша, уж больно меня считаешь, я есмь грешник, выпить люблю и во хмелю буен зело.

— Да что ты, Иване любезный, напраслину на себя наводишь, лучше ты не встречал человека, мы с Дуней по гроб твои должники.

Служил Миронов по-прежнему в архиерейском приказе. Однажды в ноябре вызвал Ваню в свои покои Гавриил, был он сердит, взволнован.

— Садись,— сказал,— вот к этому столу и пиши мой указ Кирилловскому архимандриту. Токмо о сем никому не болтай.

И Гавриил, сердясь и тяжело вздыхая, рассказал Миронову суть дела.

Молодая инокиня Марфа Горицкого женского монастыря родила мертвого ребенка и от родов скончалась. Такое в монастыре девичьем было оступой на весь иноческий чин.

— И по сему вывезть Марфу на дровнях за монастырь и закопать в берег безо всякого церковного отпевания и без провождения, и к церкви божией о ней приношения не принимать, и в синодик имени ее не писать. Игумень Анфисе приказать начальную ее старицу, у которой она в келье

жила, за то, что та, видя ее плутовство, укрывала, сковать на шесть недель, а после того смирить перед сестрами по монастырскому чину. Возьми грамоту и отошли со стрельцом в Кирилловский монастырь архимандриту Иосифу, и чтобы стрелец подождал отписки. Когда отписка придет, мне доложишь.

Через неделю пришла отписка. Миронов пошел с ней к владыке. Тому не здоровилось, лежал в постели.

— Ну прочти, что пишет архимандрит.

Ваня медленно и раздельно стал читать:

«Государю преосвященному архиепископу Гавриилу Вологоцкому и Белозерскому Кириллова монастыря архимандрит Иосиф челом бьет. По твоему, государь, архиерейскому указу о том, что в Воскресенском девичьем монастыре, что на горах, черницу Марфу вывезли и в берег закопали. А Никицкого монастыря черный священник Тихон подал челобитную, что черница Марфа ему на исповеди сказала — изнасиловал ее блудно монастырский наш черный поп Сергей Троицкой. Сей Сергей из монастыря от нас бежал безвестно, и в погоню за ним посылали, и сыскать нигде не могли, а как он, поп Сергей, где объявитца — мы велим его поймать и к тебе, государю епископу, будем о том писать».

Когда Миронов прочитал отписку Иосифа, Гавриил тихо молвил:

— Вот они какие дела-то, Ванюша. Попа сего надлежит расстричь, и батогами нещадно бить, и к воеводе для суда светского направить.

— А как же, владыка, с покойной черницей быть? Велеть записать ее в синодик и крест над могилой установить? Не виновна она, выходит.

— Нельзя, — отвечал Гавриил, — все едино нарушение иноческого обета есть. И жалеть ее неместно тебе, сблудила сия Марфа, и нет ей прощения, нет... А теперь иди и помни — не разглашай сие.

Смутно было на душе Миронова, жаль и погубленной молодой жизни черницы, и неприятно было слушать суровые речи Гавриила. Нет правды на земле!

Под большим секретом рассказал он об этом Слободскому.

— Как же, Иване, верить в добро?

Слободской положил руку на плечо Миронову:

— Нет, Ванюша, не прав ты. Правда не умрет. Годы пройдут, и она скажется, скажется, друже мой милый.

### Чудо вологодское

Два года украшала стенным письмом артель Дмитрия Плеханова храм во имя Софии-премудрости, и архиепископ Гавриил по обету, данному Плеханову, молчал, в собор заходил, зорко вглядывался в живопись и только на улице вполголоса говорил настоятелю собора Муромцеву и Ивану Слободскому, сопровождавшим его:

— Сей Плеханов не токмо иконописец отменный, а паче философ,— на что протопоп кивал почтительно.

— Истинно, ваше преосвященство, будет София украшением града и епархии и ваше имя вознесет.

Беспокоили Гавриила установка нового пятиярусного иконостаса и внешний вид собора. Иконостас строили долго и за образец взяли иконостас собора Троице-Сергиевской лавры, что сиял витыми золотыми колонками и виноградными гроздьями и чему удивлялись иноземцы. Покойный царь Алексей Михайлович умилялся виду лаврского иконостаса:

— Утешение сердец! — восклицал он.

Иконостас для Вологды делали знаменитые резчики Троице-Сергиевской лавры: бобыли Влас Федотов и Артемий Алексеев. В иконостасе надо было еще подновить местные иконы и не только подновить, но частью написать новые. Этот заказ передали вологодским иконописцам.

К окончанию стенописи в 1688 году собор выбелили, на пять глав собора устроили прорезные золоченые кресты.

Гавриилу желалось, чтобы и на колокольне звон был еще громче и слышнее, чем прежде. Не поскупился Гавриил: архиерейские и свои деньги вложил, заказав большой колокол в городе Любеке. Подрядчиком был голландской земли торговый человек Бансырь (Балтазар Фадемрехт). В июне того же года из архангельского порта колокол на дощанике прибыл в Вологду и был поднят на колокольню. Весу в колоколе 462 пуда 23 фунта, лит мастером Альбертом Бенинком. Деньги 2197 рублей 7 алтын и 4 денги выплачены за смертью подрядчика его вдове Юдифи. Дьяк, уплачивая деньги, жалел:

— Вся казну, владыка, истратите на Софию вологодскую.

— Не печалься, Иваныч,— сказал Гавриил.— Умрем мы, а колокол звонить будет.

— Оно так-то так,— покачал головою дьяк,— да ведь казна умаляется. На твой стол, ваше преосвященство, да на прислужников пришлось кое-что скостить. Отец казначей от денежного неустройства заболел, пожелтел.

— Ничего,— рассердился Гавриил,— монаху яство да питье постное, грибное полагается, а слуги архиерейские приобькли к сигам, да к пирогам с белорыбицей. Насчет казны не печалься. Не нищие!

Лекарь Иоганн Фридрих Мейер после такого разговора ставил Гавриилу пивяки на затылок и кровь отворял.

— Вредно вам, милостивый господин, волноваться, годами вы не старик, а пообносились.

— Эх, Иоганн, Иоганн! Хороший ты немчин, а не знаешь, как тяжел омофор архиерейский. Ну да, ин, ладно. Расскажи, что на Москве слышать, ведь ты оттуда недавно.

— Непокойно, господин. В кремле все вершит царевна Софья, а государь Иоанн — я от его лекаря узнал — болеет почками...

— Умом болеет государь, сие важнее. Мы с тобой в палате вдвоем, значит, толковать можем без опаски. Иван Алексеевич хоть и первым в титуле пишется, а слабенок. У Софьи Алексеевны ум зрелый, Василий Васильевич Голицын — оберегатель у ней в галантах. Опять-таки вельможа он зело велик и грамотен, но ни воинской доблести, ни счастья в правлении бог ему не дал. Крымский поход православным и государству разорение. Вокруг царевны Милославские и другие родичи боярские. Поборы с народа удвоили, а все прахом.

— Дворяне и торговые люди на младшего Петра надеются, и немецкой слободе Питер Алексеевич люб. И забавы у молодого государя в Преображенском умные, кораблями интересуется.

— Да, ты прав, Иоганн, у царя Петра светлый ум. Когда он в законные лета войдет, много от него пользы державе будет. Патриарх Иоаким и тот его одобряет, хотя и косится на иноземцев.

— Придется, видно, принцессе Софии уступить Петру,— заключил лекарь и, чтобы отвести разговор от высоких особ, рассказал, как с согласия господина живописца Плеханова рассматривал фрески собора.

— Понравилось? — заинтересовался Гавриил.

— Господин Плеханов и его подручные совершили подвиг. Фрески пленительны. На куполе и ярусах сочетания цветов гармоничны. Все фи-

гуры величественны, и самая великолепная фреска «Страшный суд». Я могу не соглашаться с тем, что художник уготовил ад для нас, иноземцев, но ад он уготовил и для многих вельмож. Главная сила в изображениях справедливости.

— Спасибо, коли так думаешь,— и Гавриил велел службе подать лекарю чару вина...

Лето... Погода ясная, солнечная, с ветерком. По небу кучевые облачка. Заново выбеленный собор сверкал новыми покрытиями на главах. Он был величествен, этот собор, имеющий форму почти правильного куба, с алтарем, который выдавался тремя полукружьями. Обширные порталы открывали вход в храм. На колокольне переливался ярко начищенный «звон», возглавляемый только что полученным из Любека «Большим Праздничным» колоколом. Тут красовались и любимцы горожан — колокола «Часовой» и «Водовоз великопостный» мастера-вологжанина Карпа Евтихьева.

Шел осмотр стенной росписи. Гавриил пригласил не только духовенство, а и воеводу, воеводского дьяка, стрелецких сотников, именитых купцов и первостепенных горожан.

Когда архиерей в сопровождении приглашенных вышел из ворот подворья, звонари ударили в колокола, и бархатно зарокотал «Большой Праздничный», октавой «Великопостный», и весело заперекликались задорные зазвонные и перезвонные колокола, и взмыли с крыш голуби в голубое небо.

В соборе архиерея ждали подрядчик Дмитрий Плеханов, Илья, брат его и тридцать помощников. Все в праздничных кафтанах, волосы намаслены, бороды расчесаны. Они истово поклонились благословившему их Гавриилу.

Писаная крупной вязью надпись, опоясывающая три внутренние стены, сообщала:

«Начата бысть сия соборная и апостольская церковь Софии премудрости слова божия стенным писанием при державе великих государей и царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, всея великия и малыя и белыя России самодержцев, при святейшем Иоакиме — патриархе Московском и всея России благословением и снисканием благолепия в дому божии господина нашего преосвященнейшего Гавриила — архиепископа Вологодского и Белозерского, в лето от создания мира семь тысяч сто

девяносто четыре, месяца июля в 20 день, на память пророка божия Ильи, и во второе лето благоврученного ему святительства, и совершися семь тысяч сто девяносто шестого года».

Иконописцы в два года упорным трудом создали монументальное произведение живописного искусства. Сюжеты, воспроизведенные по библейским темам, передавали бытовые особенности не отдаленных времен, а семнадцатого века, что особенно заметно на фреске «Пиршество Ирода».

На мощных столпах, поддерживающих своды, написаны больших размеров великомученики и мученики, и на нижнем поясе канонизированные князья русские, среди которых Владимир Святославович Киевский и в черной схиме Александр Ярославович Невский.

Стенопись переливалась голубыми, алыми, золотисто-охристыми красками, как бы наполняя пространство собора, и на сводах, на куполе, в осьмерике между окнами, в диаконике и на стенах — на каждой свой цикл изображений.

Тут на южной стороне можно увидеть «Изгнание Иисусом торгующих из храма», «Укрощение бури на озере Тивериадском», житие Марии, изображения четырех вселенских соборов. На северной стене запоминаются «Брак в Кане Галилейской», «Лазарь в раю, а богач в аду».

А во всю западную стену, властвуя над предстоящими,— картина Страшного суда с четырьмя могучими архангелами, трубящими в золотые трубы.

Воевода, дебелый стольник, несмотря на лето, в тяжелом широком кафтане, спросил отца казначея:

— Отче, дивно зело сие рукописание. Красовито-то оно красовито, а сколько простоит?

Казначей, не любивший воеводу, притеснявшего архиерейских слуг и крестьян, все же вежливо ответил:

— Думаю, господин стольник, крепко будет, левкашено на густой извести и мелко избитом льне, а писано земляными красками. Двести лет простоит.

— Ой ли? — недоверчиво воскликнул воевода.

Западная стена понравилась и духовным и светским.

— Лепота! — закатив глаза, басовито прогудел пышноволосый иеродиакон из Духова монастыря.



— Господи, избави нас от геенны огненной,— истово перекрестился дородный купчина.

И грешники, и восстающие из плоти мертвецы, и немчины в круглых шляпах и кургуzych костюмах — все вызывало интерес. Но больше всего воображение присутствующих поражал написанный в строгих тонах великолепный архангел в белом хитоне. Грозный, он как бы выходил из стены. В его фигуру, удлиненную, с могучими ступнями, изограф вложил и страсть, и весь запал своего творчества.

— Ну, владыка преосвященный,— лобызая руку Гавриила, сипел купец Никита Никифорович.— От всего града тебе низкий поклон и вековечная благодарность.

Обнимая Плеханова, дружески хлопали по спинам мастеров его артели. Звонили радостно колокола. На архиерейском подворье устроили богатый стол для почетных гостей и плехановской артели. Гавриил лично подарил Дмитрию Григорьевичу золотой нательный крест на цепочке.

Расстались друзьями.

На одиннадцати извозчичьих телегах за счет архиерея после молебна выехали иконописцы из Вологды в Ярославль.

Отец казначей положил в телеги прокорм: сулею меда крепкого, бочку пива, достаточное количество пирогов со сметками и молоками, пирогов с грибами, пирогов с горохом, хлеба подового и вяленой рыбы — судака, чтобы те иконописцы в дороге добрым словом вспоминали и Вологду, и Софию вологодскую, и подворье гостеприимное архиерейское.

## Петр I и Гавриил

Шли годы. И однажды...

«Через пять ден молодой государь Петр Лексеич имеет быть в Вологде, осматривать будет Кубенское озеро и все городские промыслы...» Два Ивана — Слободской и Миронов — доложили о царском приезде Гавриилу, тот обеспокоился, велел крестовую палату приукрасить, ковром застелить, столы дубовые поставить, а отцу келарю наказал изготовить в избытке два стола: скромный — для государя и свиты и постный — для духовенства и монашества.

— А вы, други,— сказал Слободскому и Миронову,— будьте при мне, гостей московских встречайте, услужайте им и записывайте для летописи.

...Царь со свитой из преображенцев с неизменным другом Меншиковым выстоял молебен в Софийском соборе. Собор понравился царю. Петр на своих журавлиных ногах обошел его и вокруг и внутри.

— Велик и украшен зело!

В архиерейских палатах Гавриил угощал царя.

— Государь, окажи честь, выкушай еще чару.

Петр — в зеленом преображенском с красными отворотами мундире, ростом высок, лицо круглое, глаза навывкате, курнос и над пухлыми губами усики торчат:

— Окажу! — и лихо опрокинул в рот чару.

Петр расспрашивал вологодского воеводу стольника Ивана Кирилловича Захарова:

— Скажи, Захаров, сколько сажен в Вологде-реке глубина и сколько в Сухоне?

— Не могу знать, пресветлый государь, позапамятовал.

— А что ты знаешь, дурак? — закричал вдруг Петр. — Насадил вас тут, кобелей, сидите на..., — загнул царь такое, что Гавриил печально опустил глаза, а молодые сержанты заржали на весь покой архиерейский.

— Изволь, стольник, к завтраму представить мемориал о глубине рек.

— Как прикажешь, царское величество!

Затем разговорился царь с бурмистрами и купцами.

— Державе Российской канаты нужны, баржи и все судостроение. Ты уж не гневись, отче,— обратился царь вежливо к Гавриилу,— покину твой двор, съезжу с бурмистром... на... как ты слободу назвал? Козлена?

На Козлене Петр обошел канатные мастерские, поговорил с каждым хозяином, пообещал льготы и велел больше изготавливать разного размера смоляных канатов. Чучина Петр обнял:

— Ты, дед, живи, державе еще пригодишься. Твои канаты и взаправду лучшие.

— Зер гут, зер гут! — залопотали иностранцы.

У пристани царь осмотрел строительство баркасов, зашел в смолокурню, где, голые, в одних портах, трудились работные люди.

Через день Петр с Меншиковым и иностранными инженерами выехал на Кубенское озеро для его исследования...

И во второй приезд (июль 1693 г.) царь зашел в Софию и на обед к Гавриилу. Принимал челобитные, осматривал город, с корабельщиками и мастерами-канатчиками встретился, как со старыми знакомыми. Снова София обедней встречала царя — свита из трехсот человек! — 4 мая 1694 года, и Гавриил опять обласкан Петром за то, что по его указу заготовил двадцать два дощатых карбаса.

Шла русско-шведская война. Даже в такое тяжелое время царь не забывал о вологодской Софии и приказал в начале нового по летоисчислению 1700 года произвести подробную опись собора, о чем Гавриилу сообщил царский секретарь Макаров, бывший посадский из Вологды, ставший впоследствии доверенным сотрудником царя, тайным советником и сенатором.

В Вологду епископу и воеводе приходили распоряжения о сборе колокольной меди и о постройке к весне 1702 года ста дощаников и сорока пяти барок... Вологжане поставили колокольную медь для пушечного и мортирного литья и корабли, за что последовали царские благодарности.

Ввиду дошедших до правительства слухов о намерении шведского флота идти в Белое море и напасть на Архангельск, царь приказал сделать еще двести двадцать пять судов, и чтобы каждая барка поднимала груз в четыре тысячи пудов.

— Откуда только я для государя корабли возьму? — уныло говорил воевода. — Всех работных людишек приписал к верфи, только на тя надежда, господин архиепископ.

— Нельзя волю государя нарушать, — отвечал Гавриил односложно.

И Слободской и Миронов разезжали по монастырям епархии с властными указами о посылке послушников и монахов, знающих плотницкое дело, в Вологду. Игумены монастырские злились, но посылали в Вологду и лес, и монастырских крестьян, и послушников.

На пристанях неумолчно скрипели пилы, звенели топоры. Кормили людей плохо, хлеба не всегда хватало. Рыба была до того протухшая, что посадские, проходя мимо, зажимали носы. А работа кипела. Опытные мастера отдавали распоряжения, ночью дымились факелы, в чанах кипела смола. К весне тысяча семьсот второго года корабельное строительство было закончено.

Кроме того, Гавриил, понимая, сколь необходима медь для литья пушек, снял во многих церквях и монастырях колокола для перелива на орудия. Петр благодарил Гавриила через своего обер-секретаря Макарова.

Март 1707 года выдался простудным, с короткими оттепелями, резкими ветрами, метелями.

Гавриил тяжело занемог, кашлял, ноги отекали, дышал прерывисто. Лекарь Иоганн Мейер каждый вечер ездил в архиерейский дом.

В конце марта, еле передвигаясь, поддерживаемый служками, Гавриил дошел до Софии, дабы в последний раз взглянуть на стенпись Плеханова. Долго простоял он у фрески «Страшного суда», с неимоверным восхищением смотрел на мощного трубящего архангела. Смотрел, не утирая слез с морщинистого лица.

— Прости мя, господи! — воскликнул и опустился на колени, простершись ниц.

Обратно в покои отнесли Гавриила в кресле.

В ночь на 30 марта у владыки началась агония, а к утру он скончался. Похороны, как и подобает, были пышными. Вологжане искренне оплакивали Гавриила. Когда Петру сообщили о кончине Гавриила, он сказал сожалеюще:

— Добрый помощник был. Таков, как Афанасий Архангельский!

В Софийском соборе Гавриила положили под спуд и učinили надпись: «Преставился великий господин преосвященный Гавриил и погребен на сем месте».

...Весной 1725 года Вологду снова посетил Петр. Больной ипохондрий, возвращался с олонекских минеральных вод. С ним была императрица Екатерина Алексеевна. Петр, как всегда, остановился в каменном домике вдовы-голландки Гутман.

Государя лихорадило. Он отказался от официальных приемов, но все-таки вместе с женой посетил Софийский собор. Затем, отправив Екатерину на квартиру, зашел к архиерею.

— Да, — сидя за угощением сказал, — поизносились с тобой, Павел. Видать по всему, пора туда, где несть ни болезней, ни воздыханий.

Потребовал огня, набил из кожаного кисета табак в трубку, закурил.

— Ваше величество и мыслить о сем не можете,— воздел руки к небу Павел.— Без вас отечество осиротеет. Нас, грешных, легко заменить, а ваше величество кто сменит?

— То-то и оно, отче Павел!

Мрачно встал, прошелся по залу, походные медные шпоры бряцали на грязных ботфортах.

— Ну, прощай. Авось еще побываю в Вологде.

Надвинул на глаза треуголку и вышел из покоев архиерейских.

Больше, однако, Петру Алексеевичу не пришлось побывать на Севере. Как памятник преобразователю России остался в Вологде каменный домик Гутмана с низенькими потолками и кафельными печами.

### Послесловие

В 1848—1850 годах производилась в Софии реставрация стенописи Плеханова. Ею руководил епархиальный ярославский художник А. Колчин. Деньги на реставрацию собора были собраны от добровольных пожертвований церковей и населения губернии.

Историк-археолог Н. И. Суворов в книге «Описание вологодского кафедрального Софийского собора», изданной в 1863 году, так описывал состояние фресок: «Стенная живопись, существуя 160 лет, от самой продолжительности времени во всем храме сделалась бледна, померкла в цвете, потеряла вид, а снизу на стенах от сырости стала и вовсе повреждаться и с отпадающей штукатуркой уничтожаться; чугунный пол опустился, огромный иконостас по причине опустившегося пола дал наклон, иконное письмо от давности значительно потемнело и частью облиняло». Художник Колчин и его помощники, среди которых были и палешане, в конце лета 1850 года представил законченные реставрационные работы суждению комитета, куда входили официальные лица и представители цеховых мастеров иконописи. Комитет работу одобрил «как по прочности, так и по качеству кисти».

Стенопись сделалась действительно «свежее и ярче», но художник Колчин не обладал талантом Плеханова, его «настроем», лиричностью. Реставрация нарушила красоту стенописи, цвет стал намного грубее. Об этом немало писали ученые и искусствоведы. В угоду пожеланиям заказчика некоторые изображения Колчин изменил.

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов собор как памятник искусства был открыт и его посетили тысячи солдат и офицеров, отправляющихся на фронт.

Сейчас вологодская София реставрирована. Сняты неуклюжие тамбуры, портящие внешний вид,— открылись изумительные входные порталы. Вместо четырехскатной крыши — изящные закомары. Даровитые реставраторы укрепили и расчистили фрески Плеханова, вернули им первоначальную прелесть.

Собор предстал во всем своем прежнем великолепии.

В белую теплую ночь весной выйдете к Соборной горке — взгляните на Софию вологодскую. Прислушайтесь, как она дышит могучим каменным телом, как блестят ее главы и как мелодично отбивают четверти часы звонницы.

Или пройдитесь мимо Софии в ослепительный солнечный день зимой, когда удивителен снег на главах собора и когда особенно чувствуется История. Как будто вот-вот раскроются тяжелые двери — и в портале покажется, в окружении черных опричников, в охабне, в меховой шапке, с железным посохом во властной руке, основатель собора — грозный царь Иоанн Васильевич Четвертый.

Пройдитесь мимо собора и вспомните также художника ярославца Дмитрия Плеханова, скромного вологодского летописца Ивана Слободского, старца Гавриила — всех тех, о ком эта маленькая повесть, тех, кто с великим тщанием и любовью украшал Софию вологодскую.

1974

## ГОСУДАРЕВ ГНЕВ

Осень в купеческой Вологде была предождливой: глина расплзлась под сапогами и чавкала.

В летнем царском деревянном дворце\* в узких окошечках еле мерцал свет. В домашнем храме звонили в малый колокол. Звон колокола казался жалобным и хриплым.

---

\* Дворец был построен на том месте, где теперь находится здание педагогического института по ул. Маяковского.

На воде у «Известной» (известковой) горы стояли баржи, а на самой середине реки на утлой плоскодонке рыбак, накрывшись поверх зипуна рогожей, безнадежно закидывал рванный невод.

Стрельцы в алых кафтанах, с алебардами в руках, дежурившие у государственного крыльца, от холодного пронизывающего ветра нахохлились, мечтая о чарке водки и подовых постных пирогах.

Шел дождь.

Работные люди, испозгав в грязи порты, уминая лаптями скользкий настил мостовой, подвозили на тачках к городской крепости известь и песок. Крепость перекошенным четырехугольником опоясывала город.

Стены укрепления тянулись более чем на тысячу двести сажен, а тридцать две башни следили за конным и пешим, приближавшимся к крепости. На башнях ходили стрельцы, вооруженные пищальями. Денно и ношно перекликались башня с башней: «Славен Великий Устюг!», «Славен град Вологда!», «Славен град Москва!».

В Гостином дворе, в купеческих лавках и на складах товару всякого — и своего и заморского — не перечесть. Богатая была Вологда. Недаром взял ее государь Иван Васильевич в опричные города и «возлюбил, аки перл драгоценный».

В этот осенний день утопавший в непролазной грязи город был непригляден и хмур. Хмур был и царь всея Руси Иван Васильевич Грозный. В окружении опричников в их мрачной черной одежде он вышел на крыльцо и молвил:

— Мерзость запустения!

Грозному было тогда около сорока лет. Осанистый, с выразительными властными глазами, он выглядел старше. Лицо было изборождено морщинами, а борода уже покрылась сединой. Царь был в темном кафтане, а на голове плотно сидела сафьяновая, отороченная собольим мехом шапка. Рука его опиралась на тяжелый с острым наконечником посох.

Вчера вечером приближенный дьяк Василий Щелкалов\* доложил Грозному секретные грамоты из Новгорода Великого. В них сообщалось, что многие новгородские бояре и архиепископ Пимен принимали знатных псковичей и разговор шел об измене Москвы и о переходе на сторону

---

\* Щелкалов В. Я. с 1569 года находился при Грозном. Талантливый и умный царедворец, он пользовался безграничным доверием Ивана Васильевича.

литовского короля, и якобы в этом деле замешан был ближайший опричник князь Афанасий Вяземский\*. Афанасий три дня назад приехал в Вологду из Новгорода, куда был послан для набора ратников. Теперь Иван Васильевич, нарочно не показывал виду, что знает о его измене, и повернувшись к нему, сказал:

— Афанасюшка! Пойдешь со мной, Василием Яковлевичем и владыкой Антонием\*\* в собор.

Пронзительно поглядел на остальных:

— Коли хотите, и вы ступайте.

Пятиглавый Софийский собор даже в такой пасмурный день был светел и величав. Царь щедро, не жалея казны, заботился о его постройке. Хотелось Ивану Васильевичу, чтобы Софийский собор был украшением его царства, чтобы затмил он новгородскую Софию, чтобы выглядел не хуже московского Успенского собора.

Со своими закомарными перекрытиями, строгими узкими окнами и большими входными порталами вологодская София была подобна чуду.

Стрельцы подкладывали под царские ноги доски, чтобы не замарал пресветлый царь зеленые сапожки. У храма толпились старики-каменщики в коричневых армяках. При виде Грозного они сбросили с лохматых голов заячьи треухи и низко поклонились. Иван с ними поздоровался. В ответ пронеслось:

— И ты будь здрав, царь-государь!

Крестясь, вошел Грозный в сырость каменного собора, где, несмотря на зажженные восковые свечи, был полумрак. Стены еще не покрыты росписью, и епископ Антоний громко молвил:

— Как прикажешь, великий государь, из Устюга или Ярославля изографов звать?

Царь сдвинул брови:

— Ты архиерей, тебе и решать!\*\*\*

---

\* Вяземский Афанасий отличался невероятной жестокостью. Позднее по новгородскому делу и был казнен. Карательный поход на Новгород и Псков состоялся летом 1570 года.

\*\* Антоний — епископ Вологодский и Великопермский (похоронен в Софийском соборе).

\*\*\* Стены Софии были расписаны много позднее (1688 г.) ярославскими мастерами, артелью Д. Плеханова.



И вдруг кусочек кирпича оторвался от свода и упал на царскую голову. Он был очень маленький, но так как голова у Ивана Васильевича была обрита и удар был неожиданным, царь вскрикнул. Ему показалось, что это сделано с умыслом.

— Смерды! — стукнул он посохом по земле. — Разорить к утру соборную постройку, чтобы камня на камне не осталось!

— Не волнуйся, великий государь, — вкрадчиво сказал Афанасий Вяземский. — Твой указ самолично догляжу, а каменщиков, что верхнюю кладку клали, — в мешок и в реку, пускай вологодских ершей кормят!

— Хорошо, князюшка, — зло засмеялся царь. — Кому на роду написано — вологодских ершей, а кому — в Волхове новгородских щук кормить. Чуешь, Афанасий?

Вяземский побледнел.

Вологодский губной староста, двое зодчих и епископ Антоний упали на колени:

— Смилуйся, государь, смилуйся, пожалей нас, верных твоих сирот, не вели храм зорить!

Долго кланялись в ноги царю, умоляя и усовещая его. Наконец Иван Васильевич несколько поуспокоился. Ему и самому стало жалко такой дорогой постройки. Вспомнил, что надо торопиться в Москву, а оттуда в Новгород — бояр новгородских да владыку судить за измену страшную. Сказал:

— Ин быть по вашему, но до моего повеления соборную церковь не освящать.

Взглянул на Вяземского:

— Со мной поедешь в Новгород. — И вышел мрачный из собора. Велел подать коня. Помчался крепость осматривать, пугая по дороге встречаемых и поперечных. А после обеда и молебствия выехал в крытом возке из города, посадив рядом с собой Щелкалова\*.

Окруженный опричниками и верховыми стрельцами, царский поезд навсегда покинул Вологду. Афанасий Вяземский ехал в одиночестве, но под бдительным приглядом стрелецкого сотника.

---

\* Этот неожиданный отъезд Грозного послужил темой известной народной песни, записанной в Вологде в 1841 году профессором М. П. Погодиным.

Грозный сидел в возке насупившись. У ближней вологодской деревеньки спросил Щелкалова:

— А что, Яковлевич, жаль бы тебе было Софии?

— Жаль, государь, — ответил дьяк, — красота-то какая!

Накрапывал дождь. Возок государев трясло на ухабах. Стрельцы зажгли смоляные факелы, и в сгустившихся сумерках свет их был зловещ.

## ВОЕВОДА ПЛЕЩЕЕВ

В семнадцатом столетии Вологда считалась одним из наиболее богатых центров Московского государства. Раны, нанесенные городу во время польско-литовско-шведской интервенции, благодаря его выгодному торговому положению, были довольно быстро залечены. Здесь насчитывалось несколько десятков дворов русского и иностранного купечества, много монастырских подворий и церквей, торговых лавок, около 1200 домов посадских людей.

Положение посадских, несмотря на кажущееся процветание торговли, было тяжелым. Писцовая книга 1627 года указывает, что «злодейские» налоги и поборы привели к тому, что 238 дворов «обезлюдели».

Иноземцы, свои бояре и воеводы в определенные сроки стригли горожан, как овец, стригли с шутками-прибаутками. Вологодский же воевода, боярин из знатной московской фамилии Леонтий Степанович Плещеев грабил своих пасомых в любое время года, грабил зло и бессовестно. Купцы и монастыри еще крепились, но посадские совсем были разорены. Они даже неоднократно жаловались в Москву на «великие насильства» Плещеева.

«Посадские людишки» — мелкие лавочники, ремесленники — писали: «Мы от его воеводского самоуправства и злого умысла живем по своим дворам в запорах, в великом страхе и на торг выходить по своим промыслишкам не смеем».

О боярине Плещееве, любимце царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, историк того времени Олеарий говорил: «Сей Плещеев без меры драл и скоблил кожу с простого народа, подарками не насыщался, но егда тяжущиеся приходили к нему, то он высасывал у них мозг из костей до того, что обе стороны в нищих превращались».

Таков был глава и хозяин Вологды. Посадские и крестьяне окрестных деревень ненавидели воеводу. Даже служилые люди — дьяки, подьячие, хожалые и другие не жаловали боярина, так как последний приказывал «делиться» доходами с ним, а тех, которые старались обходить его, жестоко наказывал. В одной из челобитных в Земский приказ мы читаем: «Боярин дьяка бил и бороду драл и из съезжей избы выгнал».

Новые налоги все больше и больше отягощали простой люд. Тут были и «посошные», и «оброчные», и «соляные», и «запросные» обложения. Не случайно списки «беглых» в воеводской канцелярии росли из года в год.

Не один раз кланялись в челобитных вологжане царю Михаилу Федоровичу Романову, дабы убрал куда-нибудь в другое место боярина-воеводу, чтобы чего «худова» не получилось. И действительно, «худое» произошло.

Леонтий Плещеев, человек гневный, узнав от своих сыщиков о том, что среди посадских и окрестных крестьян зреет недовольство его правлением, решил наказать жителей. В 1632 году Вологда погорела. Причину пожара летописец определяет так: «Воевода Леонтий Плещеев град Вологду пожег, кроме посадов дальних».

Пожар причинил городу много убытков. Особенно пострадали посадские. Казна же оказывала скудную помощь бедным погорельцам и в то же время щедро помогала богатым.

Вскоре воевода Плещеев, опасаясь гнева посадских людей, уехал из Вологды.

Закончилась его карьера в Москве. Здесь Плещеев исполнял обязанности судьи Земского приказа (министра юстиции). Его мздоимство было настолько велико, что москвичи возненавидели боярина. Будучи правой рукой царского фаворита боярина Бориса Ивановича Морозова, Плещеев никого не боялся.

Наконец, народное терпение лопнуло, и в Москве в июне 1648 года произошло восстание. Во время крестного хода толпы народа окружили царя Алексея Михайловича и потребовали немедленной выдачи им для казни Морозова, Плещеева, Чистова и прочих «казнокрадов и мучителей».

Напрасно испуганный царь посулами стремился сохранить жизнь боярам. Он даже плакал и кланялся народу.

— Не отдашь Леонтия и прочих лихоимцев добром — возьмем силой, — кричали в толпе царю. — Весь дворец разроем, а Леонтия откопаем!

Приближенные царя сами вытолкнули Плещеева. Народ не дал ему дойти до лобного места. Леонтия убили по дороге.

Несколько дней Москва была во власти народа, который вымещал свои обиды ненавистным боярам и дьякам.

## ОДЕРЖИМЫЕ

### Допрос послушницы

Палач в красной льняной рубаше, в синих заплатанных портах взалхлеб выпил жестяную кружку ржавой воды из ведра и, утирая окровавленной ладонью вспотевший лоб, загундосил:

— Матвей Сидорыч, вот те крест — я с энтой монашенкой замучился, аж вся спина кровью залилась, а молчит, проклятая. Уж я стегал плетью по спине — только одно поет: «Господь терпел и нам велел». И что с ней делать — хучь убей, не знаю. Солью, что ли ча, присыпать спину?

На коричневой лавке спиной кверху лежала привязанная молодая женщина. По ее голому кровоточащему измученному телу пробегала дрожь.

Матвей Сидорович, главный подъячий вологодского судного приказа, грузный толстяк в старом синем кафтане, сожалеюще сказал:

— Оставь ее до завтра, а Домне вели, чтобы она какую-либо мокрую пестрядь холодную положила на инокиню, да в подвале печку затопила. А завтрашь авось заговорит.

— Бог воздаст тебе, дьяче, сторицею, — чуть слышно молвила монахиня.

Палач отвязал ее, а затем вместе с богатырского сложения бабой они понесли монахиню по каменной лестнице в подвал.

Подъячий вынул из широкого кармана фляжку сивухи и сказал сидящему рядом за столом молодому стрелецкому десятнику:

— Веришь ли, Ванюша, второй день бьемся с девкой и все без толку. Угощайся. — Подставил стрельцу кружку, из которой только что пил.

Десятник брезгливо отказался.

— Сам угощайся, Сидорович. Поглядел я на ваши допросы, аж блевать захотелось...

— Молод ты, Ванюша, еще,— добродушно прервал его подьячий и с удовольствием выпил полкружки вина, закусив лежавшим на столе соевым огурцом.

— Мне и самому сии допросы осточертели, да воевода приказывает: «Дознайся, где ихний монастырек стоит и какова там жизнь». А девка только двуперстием крестится.

Десятник Иван Светов плюнул на загаженный пол.

— Не пойму я, ей-богу, этого государя Алексея Михайловича: умен, а староверов мукам кромешным предает. Ну ладно, у вас в округе с одной стороны — губной староста земская власть, ведает всяческими поборами да налогами, у нее, у земской власти, делов невпроворот; с другой стороны.— воевода, помещики, служивые, ратные; воеводе, конечное дело, прокорм с земских нужен...— Иван Светов вздохнул горестно.— А к чему за старую веру православных мучить, дознаваться о скитах... Пропади она пропадом вся эта ахиная.

Десятник был юн, светловолос, легкая бородка его едва прикрывала скулы, серые глаза смотрели вопрошающе. Поверх красного с желтыми нашивками кафтана была перекинута кожаная перевязь с саблею, черные сапоги ладно сидели на ногах. Выглядел он молодцом.

— Всем ты, Ванюша, взял — и видом, и норовом, я тебя еще мальчонкой у покойного Ивана Трофимовича, московского сотника, помню, нянчил.— У Матвея Сидоровича под усами промелькнула добрая улыбка.— И грамоту, и письменность одолел. Тебе бы с начальными людьми поменьше задираться — в сотники бы вышел... А то все десятник, ей-бо, от души обидно.

— Ничего, дядя Матвей, не грех за правду постоять.— И просительно продолжил:— Ты бы оказал такую милость — не мучил бы монашку, пожалел ее. В Москве, сказывают, старой веры не токмо посадские придерживаются, а и боярыни — Урусова, Морозова да еще некоторые. А их, прости господи, как татей преследуют... А здешних людишек с Устюга хуже, чем за медный бунт\*, пытают... Тьфу!

\* Московское восстание 1662 года.

— Помолчь! — взглянул на закрытую дверь подьячий.— За таковые немислимые слова тебя, Ванюша, и на дыбу вздернуть могут.

Помолчали.

Вошел стражник с алебардой в одной руке и веревкой в другой, весь заросший волосами мужик, одни черные глаза поблескивали на дремучем лице. С ним — маленький монашек со скуфейкой на рыжих вихрах. Хоть мал монашек, хоть и борода у него — смех один, но самоуверен, такой и на костер взойдет без страха. Только цепи зло скрипели на ногах, а ноги — в рваных лаптях.

За ними важно выступал высокий, в суконной рясе протоиерей — старший священник вологодского архиерейского подворья отец Мисаил.

Говорил он низкой октавой:

— Вчерась мы тебя, Исайка, спрашивали — чего вы, анафемы, добиваетесь и где ваши остатные б.... пребывают и каково они противу великого государя и светлейшего патриарха замышляют...

Он важно сел на лавку, и перед ним поставили на колени Исайку.

Исайка отвечал не робея:

— Я уж тебе, прихвостню архиерейскому, объяснял, что вы зачали с Никоном исправлять те святые книги, что при патриархе Иосифе выпущены. Книги те правильные, старинные, а вы отменили двуперстие, изменили написание имени Иисуса, службу литургии на пяти просфорах, хождение по́солонь\* да и другие отеческие предания, без чего, пойми, кобель шелудивый, невозможно спастись, нету завещанного дедами православия и сиречь отсюда дорога не в царствие небесное, а во ад уготовлена... Да что с тобой толочь воду в ступе, дурак, антихристов слуга...— Монашек махнул рукой и замолчал.

Протоиерей побагровел, ударил сапогом Исайку под подбородок и в грудь. Монашек скатился на пол.

Десятник Иван не выдержал.

— Чего ты, отче, бьешь старика, ведь по уложению Алексея Михайловича сие запрещено. Постыдись, батя! — Встал и, гремя саблюю, вышел из приказа.

---

\* Хождение по́солонь — по солнцу.

Два боярина

У себя в московском доме боярин Василий Петрович Вельяминов сердито сказал дочери Серафиме:

— На что тебе надоть, как его называют, киагр?

— Театр, батюшка! — Серафима белокурая, с длинной косой (в косу вплетена голубая шелковая лента) девка. — Театр, батюшка, прозывается. Хорошее развлечение для высокородных. Сам государь в него вхож, увлекается с дочерью Софьей Алексеевной. Тамо показывают всякие душешипательные картины из библейской истории. Сам знаешь, что ведает им боярин Матвеев Артамон Сергеич, похваливает и дядя царев Никита Иванович.

— Нашла кого ставить в пример! — Вельяминов едко рассмеялся. — Хучь Никита Иванович и большой боярин, а из той немецкой слободы не вылезит и денно и ношно по лавкам ходит, тьфу, пивом надувается в остерях.

— А Борис Иванович Морозов, старый-престарый государев былой учитель и свояк, свою внука и его товарищей в немецкое платье нарядил, — вмешался в разговор Кирилл Петрович Хвалынский, немолодой уже боярин с ухоженной черной бородой, когда-то при покойном Михаиле Федоровиче прослуживший кравчим\*, ныне забытый и потому злой на все, что творилось при Алексее Михайловиче.

Вельяминов и Хвалынский сидели за столом. Перед ними стояли в хрустальном жбанчике венгерское вино и две чары, и всякие закуски — волошские орехи на блюде, моченые яблоки, паюсная икра в серебряной мисе и хорошо выпеченный в русской печи хрустящий хлеб.

— Справедливо молвишь, Кирилл Петрович. — Вельяминов налил чару Хвалынскому. — Все при Алексее Михайловиче, продли господь дни его, изгадилось. Больно попустительствует своим любимцам царь, добр не в меру. Федор Михайлович Ртищев, на что уж тихий и смиренный сокольничий, открыл две новые школы — латинскому и греческому, да еще риторике и философии дьячих да стрелецких парней обучает. Ему бы храмы православные заводить, а он вон какую пакость заводит! Да! Не бывало того при блаженной памяти государе Михаиле Федоровиче да при отце его патриархе Филарете.

\* Кравчий — боярский чин при государе.

— Тишь да гладь, божья благодать! — вздохнул Хвалынский. — Конечно, тогда при дворе польская образованность была; понятно, польские пань — соседи, вот и носили ихние кунтуши, но такого, что теперича делается, не бывало!

Сидели. Попивали вино. А когда Василий Петрович захотел еще что-то умное сказать Серафиме, ее и в помине не было, ушла в свою светелку.

Долго еще брюзжали бояре на новые порядки, всех перебрали. Вспомнили и старую веру, и Никона патриарха — мордвина, крестьянского сына, что сейчас в ссылке на севере в Ферапонтовом монастыре.

— Был когда-то у государя первейший друг, любимейший, гордыней обуян непомерно. И теперича Алексей Михайлович не оставляет его своею милостью, — сказал Василий Петрович. — Красной рыбой, осетриной балует; отец Григорий мне повествовал, что послал ему лимонов! А? Лимонов!

Дворецкий зажег свечи красные. Свет от них ровный, горят восковые благородно, а за оконцами на улице осень, хляби небесные распустили, улицу перейти страшно — по пузо в грязь липучую влезешь.

В церкви Зосимы и Савватия, что напротив стоит, заблаговестили к вечерне.

Бояре перекрестились благоговейно, чинно, по обряду: «Прости, господи, прегрешения наши».

А за окнами грязь, пьяные. Москва. Семнадцатый век.

### Никон в Ферапонтове

Далеко от Москвы, от кремлевских палат, где разговаривали царь Алексей Михайлович с боярином Матвеевым, докладывающим ему о делах посольских (царю же не терпелось скорее к новой молодой жене — Наталье Кирилловне), далеко на севере, в маленьком монастыре Ферапонтовом, ходил у озера в теплом суконном подряснике, в болотных высоких сапогах былой патриарх Московский и всея Руси Никон — жилистый, с сумрачным лицом, испещренным крупными морщинами. Он ходил и думал о своем поверженном величии. Никон не мог не думать об этом — считал себя несправедливо обиженным и царем, и вселенскими патриархами, и боярами.



Да, несправедливо, ибо новые церковные сборники, сверенные с лучшими греческими православными книгами, восстановили церковную истину... Пускай лается на него паскудными словесами протопоп Аввакум и прочие староверы — он, Никон, был прав, и Вселенский собор, снявший с него патриаршество, полностью признал никоновскую церковную реформу и исправленные книги. Лишь его распря с царем и митрополитами сугубо вредная, неподобающая, но не считал он каноническим снятие с него патриаршего клобука.

Никон засопел, сквозь зубы буркнул:

— Попрошай грешные, милость царскую искали, им бы только деньги, патриархи нищие!

Разве мечтал он, Никон, крестьянин-мордвин, когда-то сельский поп из северных мест, достигнуть патриаршего звания? Жена померла, жил в монастырях, сколько принял мытарств и труда, взбираясь по тяжелой иерархической лестнице! Да что об этом вспоминать? И вдруг улыбнулся горько: у царя Алексея за старшего брата был, сколько советами его одалживал... А за что? За державу Российскую, верное слово, для нее, скорбной и великой, не жалел ни дня ни ночи.

Прости, господи вседержитель, грехи тяжкие! Властен был, ой как властолюбив! Но убогих и бедных признавал. А бояр? Не любил он бояр! Только для прилику прежде с ними деликатно разговаривал. А разве ценили? Стал патриархом — на брюхах перед ним ползать стали. Он же молча склонял голову, и тихо позвякивали на теле вериги, о которых никто не знал.

И опять ходил Никон у озера. Мысли в голове разные: одно вспомнит, другое. Вот вспомнился Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин. Воистину никого с ним не сравнишь, никого. А ведь Афанасий-то Лаврентьевич с иностранными всякого звания людьми дружил. А кто умнее его был? Кто? Со Швецией какой мир заключил! Какая польза получилась! Андрусовский мир со шляхетской Польшей — когда сие было? Никон наморщил лоб... Да, совсем недавно. Что тогда к державе Московской отошло? И Смоленская, и Северная земли, и вся восточная Украина, а на Западе — Киев с округою. Гетман Хмельницкий Богдан еще в 1654 году с царем соединился, и стала Украина с Московским царством заодно! Эх! Какова была слава у Нащокина! А ведь ежели он, патриарх Никон — крестьянский сын, то и Нащокин из рода небогатого, псковского помещика за-

худалого. Ну, а протопоп Аввакум — он книжек новых не почитал, старовер, изувер, лжеучитель, отступник от истины. Кем он был? Попом кержаком? Прости мысли мои, господи...

Ходил Никон по бережку. Северный сердитый ветер рвал полы суконного подрясника, и опять еле слышно позвякивали на теле вериги, вериги двенадцати фунтов.

Бояре-то высокородные так и норовят, аки псы, друг друга загрызть. Им до государевой пользы какое дело? Да никакое! Никон думал о родной земле, думал о Нашокине, думал о себе, доколе ему в ссылке пребывать, доколе?

Никон проживал в надвратной Ферапонтовой церкви, в узенькой келье. Здесь стояло деревянное кресло, на спинке которого самолично вырезано: «Смиренный Никон, патриарх Московской и всея Руси». В церковке местный иеромонах во время эктиньи и по собственному желанию провозглашал: «И еще молимся о здравии отца нашего святейшего патриарха Никона, подаждь ему, господи, многая лета!»

— Многая лета! — крестился удовлетворенный Никон, ему было приятно, что его именовали по прежнему званию.

В монастыре былой патриарх вызывал почтение. Иноки подходили, кланялись, просили благословения, целовали руки — иноки большей частью грамотные. Он всегда благословлял с особым тщанием во имя отца и сына и святого духа. В соборном храме Рождества богородицы Никон с благоговейным трепетом рассматривал стенопись Дионисия и его сыновей Владимира и Феодосия. Красноватые, голубые и охристые тона, коричневые, иногда пурпурные одеяния — и стоял патриарх и в душе восхищался. Вспоминал свой подмосковный монастырь Новый Иерусалим, в котором мечтал лежать в вечном сне до справедливого страшного дня суда господня.

Рассматривал иконопись: и воздушную всепрощающую богородицу, и строгого Николая Чудотворца, и святого отрока Иисуса, идущего с матерью. И было ему все равно, легенда ли это о растертых камешках, или покупали краски сыновья Дионисия в Вологде, — не в этом дело, главное в том, что роспись вызывала слезы на глазах, что она звала к другой жизни, заставляла воспринимать неведомое и вечное. И самолюбивый Никон на коленах кланялся искусству мастера и его такому неземному вдохновению.

Досаждали приезды из Кириллова монастыря наблюдателей архимандрита и его присных. Досаждали и московские гости, привозившие патриарху царские поминки, хотя и любил их Никон: помнят, не забывают, думают о нем — царь Алексей и его семья. Отписывал благодарные грамоты, а потом ругал себя — зачем это я, патриарх, унижаюсь.

Чтобы успокоить себя, в келейке зажигал свечу и читал псалтырь. Горела успокаивающим пламенем толстая свеча, и мирно мерцали лампадки рубинового цвета перед киотом, освещая лики святителей.

Обслуживали его в монастыре с уважением, называли, чтобы не обидеть и не вызвать попреков царских властей, не святейшим патриархом и не просто отцом, а владыкой, что было знаком вежливости. Вкушал Никон пищу у себя в келейке, всякие царские яства, чтобы не вводить во искушение остальных монахов.

И все же скучал, сердился и от скуки занялся лечением окрестного населения. Знал по книгам, какие снадобья принимать, и вылечивал. И благодарили его униженно: «Спаси тя господи, владыка пресвятой».

### Бегство в Тотму

Стрелецкий десятник Иван Светов вышел во двор. Из выгребной ямы пахло вонючей капустой и еще чем-то едким, таким едким, что хоть зажимай нос. Из подвального зарешеченного окна доносился еле различимый стон. Иван уловил его. Порывлся в широком кармане кафтана, вынул тяжелый медный пятак и хотел бросить его в окно подвала, но тут к нему подошла здоровенная Домна.

— Слушай, господин начальник, — сказала она, пристально осматриваясь. На дворе было пусто. — Слушай, начальник, как я взглянула на тебя, враз решила — добрый ты человек, не схож с начальством, жалостливый.

— Ну и что из этого? — Светов подозрительно посмотрел на нее. — Ты, видать, палачова женка?

— Нет, ошибаешься, мил человек, я ему сестра, взята для подмоги. Да, так вот, не было у меня ни к кому жалости. Понимаешь, стрелец, не было. Все, кого братан пытал и плетью и дыбой, все они убивцы, деньги фальшивые добывали, разбойничали. А монашку молоденьку пожалела. Вот те

крест, пожалела, как дочку. За веру христианскую пострадала, да еще как! — И уже тихо: — Нету тут ее проступка, я же признаюсь — сама не приемлю новшеств Никоновых, мне какой-то иночек старенький Аввакумовы письма читал справедливые, восприняла их.

— Ты это к чему? — Десятник тронул Домну за плечо. — Ты к чему подводишь-то?

— Спасать надо монашку, забьют до смерти.

— Как спасать? — Светов еще ближе придвинулся к Домне.

— Я выведу ее ночью во двор, а ты, начальник, скажи, что ее вызывают к воеводе. Скажешь, велено, мол, девку на допрос к самому привести. А я ждать вас буду, телегу у ближнего леса припасу, пушай до скита добирается, все одно ей не житье.

— А я как же? — озадаченно спросил десятник.

— Для прилику из пишали пальни. Скажешь, бродяги ее подхватили: уперли, мол. Да ничего-то тебе не будет, всяко брани не миновать, а сам знаешь — брань на воротах не виснет. Да и особливо искать не будут, не разбойник, чать, монашка... Поругают и перестанут.

Домна просительно смотрела в глаза Светова.

Тот помолчал, а потом сказал:

— Ладно, седня поздно приходи, мне и самому девку жаль, измордуют.

Отошел к воротам. Стукнул ногой. Ворота на запоре. Стражник с той стороны отодвинул засов. Был он стар, алебарда в руках лишь для остратки.

— А, это ты, господин десятник.

...Поздно ночью, когда шел холодный косой дождь, десятник подошел к воротам, строго сказал стражнику:

— Велено монашку на ночной допрос самолично воеводе представить. — И вынул лист бумаги. На нем всякая тарабарщина была написана, а внизу стояла поддельная печать.

Неграмотный стражник, увидя бумагу, брякнул засовом.

— Входи, господин десятник.

Домна вывела во двор узницу. Монашка в старомодном длинном зипуне мелко дрожала. Посмотрела молитвенно на Светова. Тот громко, чтобы стражник у ворот слышал, сказал:

— Пошли к воеводе, сирота!

Вышли втроем, скрылись во тьме. Лужи. Северный пронзительный ветер.

Стражник сожалеюще сказал:

— Сколько их к воеводе таскают! Запорют до смерти.

И зевнул. Спать хотелось от холода.

Через полчаса где-то у леса прозвучал выстрел, потом второй. И опять тишина. Ветер усилился. Осенние деревья разносили побуревшие листья.

### Старообрядцы

Необычны за городком Тотмой на север к Устюгу леса. Они настолько дикие и густые, что опасаются сюда забираться тотмичи и промысловики дегтяри — не приведи господь до чего опасно, если ты не бывалый охотник. Лесные речки рыбные, и звери вокруг непуганые, и какие звери: медведи, дикие кабаны, рыси, лисицы, лоси и олени, не считая такой мелкоты, как зайцы. У воды делают запруды и домики бобры. Конечно, охотники выслеживают соболей, не брезгают белками, бьют бобров. Это все недалеко от знакомых мест — по лесным речушкам, а забираться вглубь — нет таких смельчаков, раз-два и обчелся.

В непроходимых дебрях и строили староверы часовенки и скиты — женские и мужские, строили из вековечных сосен, и были те монастыри как малые крепостицы. Где они находились — про то ведали тоже староверы и по одним им знакомым тропам и зарубкам добирались до них, чтобы перекреститься двуперстием, чтоб Иисус истинной веры благословил их, чтобы послушать огненное слово батюшки протопопа Аввакума, чтоб справили бы отцы иноки или матери монахини положенные требы — крещение, исповедь, погребение.

И несли верующие христиане в святые обители и медку, и воску для свечей, и рыбы всякой, зерна и хлеба для пропитания, и связки сушеных грибов, и соленых в кадочках. А кто побогаче — мягкого золота соболиного, а на шубейки — меха попроще, чтобы грешных записали в поминальники до конца дней их.

И никто не мог выпытать у них слова лишнего, ни начальство, ни православные церковные власти, ни под пыткой, ни лестью. Крепкий народ староверы, ох до чего ж крепкий и молчаливый!

Одним из таких женских скитов и был тот, куда везли молодую монашенку, столь жестоко измученную палачом. Монашка лежала на телеге закутанная в зипун и еще какую-то ветошь. Возчик с седой бородой все время нахлестывал лошадь, шедшую рысью. Домна сидела рядом с монашкой, держа мешок с провизией — калачами, печеной репой и яйцами, бутылку льняного масла, а на краю телеги стрелецкий десятник, вооруженный саблей и пищалю. Хорошо, что был он в стрелецком кафтане: никто не хотел связываться с ним — ни редкие прохожие, ни даже ярыжки.

Выехав из вологодского леса, отдохнув у лесного пруда, уже не спеша двинулись по дороге в тотемские глухие дебри.

### Боярышня Серафима

Боярышня Серафима Васильевна Вельяминова несколько не походила на девиц старинных родов. Хотя боярин Василий считался в древней родословной и вел своих предков от бояр Ивана Калиты, а те принадлежали к роду татарских князей, Серафиму мало это занимало. Ей было гораздо важнее знать, какие наряды носят боярышни Голицыны и что князь Михаил им из Лондона привез. Серафима была — кипятюк. С отцом разговаривала открыто и несколько его не боялась. Когда боярин Василий раскладывал перед нею древние пергаменты и родовые записи, она тоскливо вздыхала: «Ой батюшка дорогой, ой до чего же ты надоедно твердишь одно и то же. Разве мне то слушать не скучно? Ну бог с ними, с предками нашими, были бы ангелами, мне от их отчества ни холодно, ни жарко». И всегда, пожав плечиками, уходила из боярских покоев. Ей куда приятнее слушать рассказы сенной девки Пашутки о том, что делается в Москве, какие новые проделки творят стольники и богатых торговых гостей сыновья.

У боярина Матвеева его воспитанники, у окольного Салтыкова дочери, у голландского резидента мин-гера Клейна племянницы и сын Иоган танцевали. И у многих других персон дома было всегда шумно, убранство на французский лад с зеркалами, коврами. Кавалеры отвешивали девицам расторопные поклоны, а те церемонно делали реверанс. Иногда — это было еще внове — танцевали, как при французском дворе, менуэт. Со знакомыми девицами и молодыми людьми Серафима посещала театр и пла-

кала в платочек от душещипательных пьес не только библейских, но и светских про доблестного рыцаря Ромуальда и даму его сердца Веронику. Ох как все это было возвышенно! Как хотелось скорее вырваться из дворянских хором!

Серафима никогда не ходила без сопровождения девиц из дворянских семей, проживающих у Вельяминова, ради чести и благопристойности, ибо нельзя боярышне без этого: и негоже, и непристойно. Ее дворянская спутница Устинья Апраксина, девица отменной приятности, представила ей молодого стрелецкого начальника Ивана Светова, юношу скромного и вежливого, и оный Светов, далеко не ровня боярской дочери, держался с ней почтительно.

Понравился он Серафиме. Она даже однажды Ивана Светова во сне видела: будто они вдвоем на окрашенной в небесный цвет лодочке плывут по Москве-реке, мимо веселой — там играла духовая музыка — немецкой слободы.

Проснувшись Серафима, села на постели, приказала своей сенной девке принести ковшик яблочного кваса и не могла до утра заснуть. Всякое бывает, всякое может присниться.

Вспыльчивая, неуравновешенная Серафима все же была девицей доброй. У храма всегда подавала медяки старушкам божьим, юродивым и калекам. Боярин не стеснял в деньгах дочь.

Как-то Иван Светов спас боярышню от большого несчастья... Выходит Серафима из церкви и удивляется, что паперть пустая. А Апраксина кричит ей сзади с испугом:

— Боярышня милая, бешеный кобель бежит, иди вобрат в церковь!

И действительно, по улице бежал большой рыжий пес, хвост опущен, изо рта белая пена, и все от него шарахаются в разные стороны. Тут невдалеке оказался Иван. Выхватил он из ножен саблю и на пса. Враз на месте его прикончил. С того дня Серафима задумалась...

А сейчас Иван Светов вместе с Домной и монашкой подъезжал к темским лесам. Монашка за несколько дней привыкла к Ивану. Под черной мантийкой он разглядел ее большие серые глаза, маленькие пухлые губы и светлые волосы, то и дело выбивавшиеся из-под платка. Лет ей было не более двадцати.

— С чего это ты в монахини пошла? — поинтересовался Иван.

— С чего? Там исконная вера, молодец, там ближе к богу.— Она пе-

рекрестилась. Рука была белая с синими прожилками, и пальцы длинные, красивые. Такой бы девушке замуж, а не куколь черный носить!

У дремучего леса Иван простился со своими спутниками. Возница молча кивнул головой. Домна просила сказать братцу, что останется в скиту, ежели мать игуменья ее примет, что она уже насмотрелась на тюрьму и пытки, хватит с нее грех на душу принимать...

А монашка сказала ласково:

— Спаси ты, Иван, богородица, не забуду твоей услуги до смерти.

И телега исчезла в лесу.

Иван Светов пошел к тракту и долго ждал попутной телеги на Тотьму, оттуда через несколько дней добрался и до Вологды.

И вправду, подьячий и слова обидного не сказал, а воевода только отмахнулся: «Подумаешь, пропала монашка, ну и ляд с ней, поучили ее в приказе — запомнит».

Да и не до того было воеводе, неполадки большие начались в крае: бескормица, на дорогах разбой. А народ какой стал, не приведи господи что за народ! Беспокойный народ! Дерзкий народ!

### **Алексей Михайлович и Аввакум**

Алексей Михайлович, царь и самодержец, был роста среднего, фигуру имел тучную, лицо благообразное, с аккуратно подстриженной бородкой. Глаза у него были сероватые, добрые, умные, правда, иногда делались сердитыми и даже злыми. Но, как сообщали посланники в разные страны, Алексей Михайлович являл собой пример подлинного царя и повелителя обширного государства.

После церковной благолепной службы в окружении ближайших бояр он сидел в мягком кресле, и по его лицу пробегали то улыбка, то гнев. Он читал какую-то бумагу не спеша, но волнуясь.

Придворные стояли поодаль, боясь приблизиться, хотя их и брало нетерпение, что это за бумага, так обеспокоившая царя-батюшку. А обеспокоил пресветлого царя не кто иной, как главнейший раскольник — сам протопоп Аввакум.

С протопопом Алексей Михайлович очень считался. Аввакум не боялся ни царя, ни патриарха, он был тверд в своих убеждениях, а слова прото-



попа, сильные, издревле русские, прожигали людские сердца, сверкая, как драгоценные камни. Умел писать Аввакум внушительно и убедительно.

В послании протопопа были такие слова: «О царю Алексею! Покажу ли тебе путь к покаянию и исправлению твоему? Иной тебе так не скажет, но все лижут тебя — да уж слизали и душу твою. Ведаю разум твой: умеешь многие языки говорить, да что в том прибыли? Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком, не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах».

Читал это Алексей Михайлович и невольно думал: «До чего ж хорошо пишет Аввакум, до чего ж слово его проникает в душу».

— С чего, батюшка, заскучал? — спросил юный наследник царевич Федор Алексеевич, болезненный мальчик с желтоватым лицом и покрасневшими веками. — С чего?

— Да вот прочти. — Царь передал грамоту Федору. Тот близоруко поднес ее к глазам.

Алексей и бояре молчали. Стояла тишина такая скучная, что Алексей не выдержал — стал с кресла и выдернул грамоту из рук царевича.

— Читаешь ты, Федор, вроде как бы впервые грамоте учишься, — сказал.

— Да что ж, батюшка, — покраснел царевич. — Стиль сего письма зело неуместен. След бы протопопа сего смирить.

— Ничего ты, Федор, не понял, — тихо сказал царь, — тебе бы только людей смирать да на постели лежать. — Повернулся к боярам: — Ступайте с богом, а я пройду в царицны покои. — Наклонил голову и медленно пошел к Наталье Кирилловне Нарышкиной.

Стояла осень, суровая, мгlistая. В Кремле деревья роняли листья, те падали не спеша.

Перед обедом Алексей Михайлович с окольничим Федоровым играли в шахматы. Фигуры были тяжелые, из слоновой кости благородного цвета, искусно вырезанные — подарок магараджи Сапура из Индии.

Федоров нарочно проигрывал.

— С тобою, государь, дюже опасно сражаться. Побеждаешь!

Алексей Михайлович посмотрел на его распаренное лицо с пышной рыжей бородою, на заплывшие жиром глазки и сказал, смешав фигуры:

— Дурак ты стоеросовый...

Иван Светов задумывается

Возница выбирал в чаще леса знакомые тропы. Умная лошадь легко везла телегу — малая была телега, узкая, пригодная для такого путешествия. К вечеру остановились для ночлега.

Дядя Михай, скитский конюх, набрал валежника, разжег костер. Домна вытащила из сумки хлеб, репу, печеные яйца, луковицы, бутылку молока, сухую воблу. Монашка вместе с ними угостилась маленько. Затем поставили на костер котелок с травами целебными, попили горячего. Всем стало веселее, да еще Домна достала фляжку, остро пахнущую спиртным. Возница благодарно отпил из нее, завернулся в кожу и через несколько минут уже спал, сладко похрапывая. Лошадь хрумкала из мешка овес.

Домна легла на рядно. Спросила монашку:

— Как звать-то тебя, горемыка? Я ведь с тобою в скит еду, ну ее к ляду житуху в городе при таком брате, как мой.

Монашка вздохнула горестно.

— Меня, тетушка, зовут Натальей. Я сирота. Отец был грамотей, служил в Тотьме приказчиком у купца Ивана Евсеича Стулова... Дом имел в два этажа на каменном фундаменте, прислужницу Дарью, да одного мужика Фаддея — тот двор обихаживал, дрова заготавливал, за конем смотрел... Хороший был человек! А матушка Марья Евграфовна, конечное дело, хозяйствовала. Хорошо жили... У батюшки я грамоту да счет изучила. А как посетили Тотьму купцы персияне, то смертную болезнь занесли — холеру: люди животом маялись, аж до потолка тряслись. И мои обое померли. Мне осьмой годик шел. Я у дяди Николая Михайловича в лавке прислуживала, да тетушка Агния невзлюбила меня: поедом ела, за косы трепала — у ней самой три девки росли старше меня. Спасибо, тут одна старушка, инокиня мать Феодосия... к себе взяла, в скит свезла, там я и осталась. Посылают меня грамотки отца Аввакума по христианам втайне разносить. Вот тут и взяли меня служаки воеводские да в Вологду сопроводили. Вечное тебе да молодцу тому, что от смерти меня избавил, благословение!

Заплакала Наталья и замолкла.

В лесу шла неумолчная жизнь: шумел в вершинах ветер, противно каркали вороны, а на высоких соснах прыгали, осыпая зеленые иглы, белки-летяги и какие-то сероногие веселые любопытные птицы.

— Кажись, я молода, а столь наслышана, столь навидалась всякого, что на стариковскую жизнь хватит,— снова заговорила Наталья, повернувшись к пламени костра.

— Расскажи, доченька, спать чего-то не хочется,— Домна придвинулась к Наталье и погладила ее по плечу.

Эта ласка тронула сердце девушки.

— Знаешь, тетушка, какое сейчас время ненастное? Я уж не грю про Степана Тимофеевича, ты сама ведаешь, каку он дал потасовку боярскому и господскому роду. Его предали анафеме, а я, грешная, молюсь за него. А на святых Соловках что деется! Дай, господи, той святыне милость свою! Там иноки за веру православную царскую военную силу отражали, аки львы.

— Слышала о том, дочка,— сказала Домна,— к ним на острова Степан Тимофеевич своих молодцов посылал. Но одолевает их царская сила, одолевает...

В московском обществе происходили невероятные, до того не виданные дела. Жизнь мешалась, становилась более похожей на заграничную. И где это? В Москве — сокровищнице старой древней жизни.

И если прежде на это бояре и прочих чинов люди смотрели косо, то теперь — по-иному, с некоторым удивлением, особо не ругались. Как тут будешь ругаться? Когда и в приказах некоторые чиновные господа дворяне говаривали и по-гречески, и по-латыни.

А сын канцлера Ордин-Нащокина даже покинул родину и уехал на Запад, но затем подал челобитную, вернулся и был прощен по царскому указу. Вот как проникали латинский, греческий и польский языки в Кремль. Даже некрасивая и мужиковатая царевна Софья читала по-латыни и по-польски.

Итак, с одной стороны, политес, иностранная вежливость, западная обстановка, а с другой — усиление старообрядчества. Оно было не только религиозным, но и крестьянским движением. На Соловецких островах вспыхнуло стихийное восстание против царизма, сначала как протест против реформ Никона, а затем под влиянием разинцев, появившихся на Соловках после поражения крестьянского восстания в Поволжье и на Дону, переросшее в битву классов и ставшее эпилогом второй крестьянской

войны. Соловецкие острова были и охранителями старой веры, и проводниками культуры и искусства. Библиотека Соловецкого монастыря являлась одной из лучших рукописных в Европе, изографы украшали рисунками книги, а переписчики славились чудесным знанием устава. Соловки считались своеобразными Афинами древнерусского православия. Монахи и разинцы целых семь лет выдерживали осаду царских войск, и лишь измена одного из них дала возможность воеводам овладеть соловецкой твердыней и подвергнуть восставших тяжелым карам...

Какой это страшный век! Сами себя жгли раскольники, надеясь на небесное возмездие.

Вельможи царского двора — младшее поколение при Алексее Михайловиче, вроде князя Василия Васильевича Голицына, — хоть и старались влиять на нравы, хоть и либеральничали, вряд ли могли что-либо сделать. Голицын, галант царевны Софьи, фигура романтическая, незаурядная, мечтал даже о крестьянской освободительной реформе, но все осталось лишь в мечтах.

В семнадцатом веке Россия дала величайшего писателя, борца и мученика за народную, а не только церковную идею — протопопа Аввакума. Имя Аввакума потрясало и пугало дьяков и бояр, и на все государство звучали его огненные слова: «Ох, бедная Русь! Что это тебе захотелось латинских обычаев и немецких поступков?»

Обо всем этом в скитах северных шли разговоры, и недаром стекались сюда толпы крестьян, никогда не знавших, что такое крепостное право, и готовых лучше идти на самосожжение, чем в никоновскую церковь.

Вот о чем говорили и в том женском скиту, куда направлялась Наталья.

Леса, тихий мелодичный звон, бревенчатые кельи, высокий частокол, ночные молитвы и тихие, жалостливые, протяжные песни, как плач русской души.

Иван Светов продолжал службу стрелецкую. Человек грамотный, он имел в стрелецкой слободе хорошую усадьбу, крепкий двухэтажный дом, дворника, конюха и хозяйство с тремя коровами, за которыми присматривала старшая сестра Анисья, пятидесятилетняя вдова убитого в шведскую войну стрельца, любившая, как сына, младшего брата. В стрелецком полку Светова ценили как исполнительного и умного десятника, и сам глав-

ный начальник Петр Семенович Воротынский, откомандировавший Светова к вологодскому воеводе, произвел его из десятников в пятидесятники — по тому времени чин немалый.

А почему-то молодой и на виду у начальства Иван Светов заскучал. Уж как ни старалась Анисья приготовить брату и вкусный обед, и сытный ужин (какие только яства ни ставила на столешницу — и жареных утку и поросенка, и разные собственного изделия настойки) — Иван только попробует и отставит в сторону.

— Плохо что ли, Ваня? — спрашивала Анисья. — Не угодила?

Светов вежливо говорил:

— Спасибо, только не хочется. — И замолкал.

«Что с ним? — думала Анисья. — Может, женить его?» Но и на этот счет молчал Иван.

И тяжелая скука поселилась в доме.

Вечерами Иван читал библию. Многие в библии было непонятно, а то, что он понимал, — смущало его. Прочел о пророке Илье и ученике его Елисее, о праведном Лоте и превращении жены его в соляной столб. И о Ное, Симе, Хаме и Афете и всемирном потопе. О ковчеге Ноевом, куда он мог взять из живущих на земле тварей семь пар чистых и семь пар нечистых.

И еще задумывался ночами о старообрядцах. Вот монашка Наталья, юная, с глазами, как два колодца, — ни у кого не видел таких глубоких глаз. Как ее наказывали! Какие муки, господи, она претерпела, и ничего от нее не узнали, ровным счетом ничего. Откуда в этой хрупкой девушке силы?

Как-то вечером за ужином ел толокняную кашу с молоком и жареную курицу с чесночной подливой. Сестра поведала о сестрах, боярыне Морозовой и княгине Урусовой, что в хладной земляной яме за старую веру держат и, как собакам, бросают им полусырой с кострицей хлеб да холодной воды дают. О них отец Аввакум, как о святых мучениках, любовно писал царю и патриарху: «Освободи».

— Господи! — рассуждал Иван Светов. — И это первейшие боярыня и княгиня! — И охватывала его дрожь всю ночь. И смотрел он на икону Господа Вседержителя, освещаемую тусклым светом лампадки.

За окном стояла темень. Сторож не спеша бил деревянной колотушкой по березовой доске.

### Записи Ивана Светова

Иван начал более подробно узнавать о жизни Аввакума. Для чего он это делал, и сам не знал. Завел даже записи. Достал хорошей бумаги и сделал книгу. Писал гусиными перьями. Анисья даже перепугалась. Но сосед дьякон Дементий успокоил: «Иван человек большой, всяко пишет о делах стрелецких, мало ли у кого какие дела. Вон сотник Егоров стал записывать, что видел за границей, как живут другие народь».

Анисья поблагодарила дьякона и успокоилась. А Иван продолжал свои записи, все больше накапливалось в книге сведений.

Было время, когда Аввакум в сороковых годах семнадцатого века состоял в кружке ревнителей благочестия. В кружке находились: Аввакум, протопоп Лазарь, важную роль играл Иван Неронов — постоянный защитник Аввакума, переведенный в Москву из Нижнего Ново-Спасского монастыря Никон (впоследствии патриарх Московский). Близок к ним был и окольный Федор Ртищев.

Кружок имел нравственное влияние на общество, что поддерживал тогда юный царь Алексей Михайлович. Иван Неронов, Аввакум и другие обличали неустройство русской жизни, жестокость светских властей, восставали против пьянства, взяток, напрасных арестов. Со временем кружок ревнителей распался. Находились боязливые люди, отошедшие от Аввакума: «Отец Аввакум лишние слова говорит, что не подобает говорить».

Много впоследствии испытал Аввакум. Алексей Михайлович лично к нему относился хорошо, но знатные бояре, архиереи на Аввакума гнались, требовали от царя-реформатора крутых мер к Аввакуму. Он ссылался вплоть до Пустозерска, терпел с семьей побои и издевательства от сибирского воеводы Пашкова, сидел в земляной тюрьме, но продолжал поддерживать раскольников, восславлять восстание на Соловках. Письма Аввакума из тюрьмы переписывались по всей России.

Последователи Аввакума, боярыня Морозова и княгиня Урусова, писали ему из Сибири. Иван Светов переписал одно письмо. Оно было широко известно среди верующих: «Женскую немощь отложили, мужскую мудрость восприяли, дьявола победили...»

Аввакум восклицал: «О, светила великия, солнце и луна руския земли, Феодосия и Евдокея, и чада ваша, яко звезды сияющыя пред господом богом! Воистину красота есте церкви и сияние присносущныя славы гос-

подни по благодати». И кончается послание Аввакума: «У тебя и больша нашава заводов было, да отняли же. Да добро так! Благодарите же бога, миленькие светы мои, не тужите о безделицах века сего. ...Мир вам, Евдокеи и Феодоре, и всем благословения».

Читал Иван Светов и про житие протопицы Настасьи Марковны и детей ее. О том, как Настасья Марковна делила все невзгоды с Аввакумом, когда воевода Пашков гонял их по таежному краю из одного места в другое. Казаки Пашкова, производя обыски у Аввакума, жалели протопицу, говоря ласково: «Матушка, отдохай ты, и так ты, государыня, горя натерпелась». Как Настасья Марковна, совершая с мужем на дощанике тяжелый путь по Иргень-озеру, подбадривая ослабевших в пути сыновей, спрашивала его: «Долго ли муки сея, протопоп, будут?» Он же говорил Марковне: «До самых до смерти». Она же, вздохнув, отвечала: «Добро, Петрович, ино еще побредем».

И еще читал в житии Аввакума стрелец Иван Светов, как она, эта простая русская баба, ободряла мужа, когда тот роптал. «Господи помилуй! Что ты, Петрович, говоришь? ...Аз тя и с детьми благословляю: держай проповедати слово божие, а о нас не тужи».

Читал Светов об их путешествии:

«Горы высокия, дебри непроходимыя, утес каменной, яко стена стоит, и поглядеть — заломя голову... На те горы выбивал меня Пашков, со зверьми и со змеями, и со птицами витать».

Умиление Ивана вызвали слова Аввакума о курочке, бывшей в семье ссыльного:

«Курочка у нас черненька была; по два яичка на день приносила робяти на пищу, божиим повелением нужде нашей помогая. ...На нарте везучи, в то время удавили по грехом и нынеча мне жаль курочки той, как на разум придет. ...А та птичка одушевленна, божи твореньи, нас кормила, а сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или и рыбки прилучится, и рыбку клевала; а нам против тово по два яичка на день давала. Слава богу, вся строившему благая!»

Утром прочитал запись Анисье. Анисья, утирая слезы, обняла брата.

— До чего же ты жалостливый! До чего же ты, Ванюша...— И не договорила.

Следующей ночью Иван опять не спал — читал при лампадке четвертую беседу Аввакума, где тот отвергал иконы, написанные никонианами:

«...пишут Спасов образ Еммануила. Лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у ног бедра толстыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лишо сабли той при бедре не писано. А то все писано по плотскому умыслу, понеже сами еретицы возлюбиха толстоту плотскую и опровергоша долу горняя».

Восхищало Ивана упорство Аввакума, его собственное отношение к иконописи.

Еще писал Аввакум из земляной пустозерской тюрьмы: «Жена моя... в земле же сидит»\*.

И чем больше знакомился молодой человек с житием Аввакума, тем больше проникался уважением и к Аввакуму, и к раскольникам. А это уже беспокоило Анисью. Анисья по ночам прислушивалась к шорохам и крикам на улицах; боялась, чтобы не пришли с арестом к брату.

Иван читал библию. Библия была большая, неудобная, он не привык к таким книгам. В России не знали библии, и с некоторым недоумением он просматривал страницы этой толстой книги. Молодого стрельца не увлекали библейские притчи, читал со скукой, зевал и ничего знакомого с детства, с юности не находил в них. В конце концов он решил отложить чтение библии. Человек любознательный, Иван, как и покойный отец, предпочитал евангелье.

### **В царских покоях**

К вечеру тусклого зимнего дня Алексей Михайлович перешел с кресла на мягкую, под балдахинном постель. Он тяжело дышал, не хотелось ни с кем разговаривать. Да и что разговаривать? Не хотят бояре слушать его сетования на то, что делается в Московском государстве, их не беспокоят ни дела малороссийские, ни челобитные грамоты гетмана Богдана Хмельницкого...

Алексей Михайлович закрыл веки, думал уснуть, но сон не приходил. Велел вызвать лекаря, чтобы тот дал снотворного.

---

\* Жена и дети протопопа Аввакума были сосланы в Мезень 29 декабря 1664 года. Они прожили там около тридцати лет в Окладицкой слободе и были впоследствии освобождены по просьбе князя В. В. Голицына. Жили в Москве, купив дом в Троицком приходе.



Пока ходили за ним, пока немец лекарь взвешивал на крохотных серебряных весах порошок, спустилась из женских покоев молодая царица Наталья Кирилловна. Села рядом с царем, положила свои маленькие теплые пальцы на его закрытые глаза и нежно погладила. Он задремал.

Лекарь на цыпочках подошел к постели, держа на блюдце серебряную чарку, пахнущую валерьянкой, с поклоном подал Наталье Кирилловне.

— Ваше величество, как государь откроет глаза, пусть выпьет лекарство. — И, снова поклонившись, пятясь задом, удалился из опочивальни.

Наталья Кирилловна влила лекарство в полуоткрытый рот Алексея Михайловича. Он проглотил во сне, как маленький, зачмокал. Открыл глаза.

— Ох, светик ты мой Наташа, спасибо тебе.

Ночь Алексей Михайлович опять не спал. В иконостасе цветные лампадки, иконы в позолоченных окладах, благость и тишина, но не спится. Видит он седобородого Аввакума, босого, на ногах болячки.

«Поряз ты, царю Алексею, в блевотине немецкой и латинской, почто?»

Вот и Никон — не в белом клобуке с серафимами, не с алмазной панатгией, а в простой грязной рясе... И на ухо ему шепчет, наклонясь, чернец Никон, бывший патриарх Московский и всея Руси: «Поминай обо мне грешном, Алексеюшка, жить-то нам с тобой немного, немного...».

Алексей Михайлович трет покрасневшие веки, смотрит на божницу, крестится.

— Помилуй мя, господи.

К утру полегчало. Встал, накинул атласный кафтан. Стольник Петр Овчинников, неслышно ступая по ковру, поднес полотенце. С помощью стольника дошел до умывальника. Вода была холодная, добрая вода. Помылся, пополоскал рот. В пахнувшей ладаном палате сел в кресло и заплакал.

Позвали лекаря:

— У вашего величества нервы разошлись. Всепокорнейше прошу, государь, денька два-три полежать в постели. Попить целебный декохт, от него легче будет.

Бывшие в палате бояре зацокали языками, сделали услужливые сладкие лица.

— Батюшка великий государь, изволь от хвори выслушать лекаря, враз легче станет...

Шатаясь, встал. Кружило голову. Взял под руку окольного Ртищева.  
— Проведи до опочивальни.

И опять лежал, думал, ждал, пока придет Наталья. А в государевой церковке пышноволосяй румяный протодьякон басовито возглашал о здравии великого государя. И хор мальчиков пел нежно:

— Многая лета! Многая лета!

### Алексей Михайлович и Никон

Никон видел, что архимандрит и казначей Ферапонтова монастыря держат братию на таких харчах, что раз поешь и больше не захочешь. Вот почему в свободное время у озера часами просиживали монахи с удочками. Глядишь, и закраснеет окунек, щуренок или язь, блестящий, как богатырь в латах.

А когда перевели Никона по указу в Кириллов монастырь, то Никон почувствовал себя, как в сетях: обязательно кто-либо из монастырских за ним увязывался. Если он спрашивал: «Что ты, окаянный, аки тать, за мною выглядываешь?», тот отвечал: «Прости, отче, это не я, мне твердят: доглядай за стариком».

Гневался, с архимандритом спорил, в Москву писал окольному Ртищеву, а ответ один: «То не наша светская власть, мы тут ни при чем, то духовная власть».

Но людей лечил по-прежнему, а любопытных монахов выгонял строго: «Выйди из кельи, дуралом». И уходил монашек жаловаться архимандриту: «Не допускает отец Никон, когда лечит».

А тут известие привез из Москвы отец Нифонт, что занедужил тяжело пресветлый государь.

Среди кирилловских иноков были такие, кто в глубине души сочувствовал соловецким мятежникам. Говорили: бог наказует государя — ему всего сорок шесть, в самом цвету, боже, знать, поупущение.

— О ком это вы сплетни плетете? — спрашивал отец настоятель.

Молчали или отходили в сторону.

Никон написал грамотку в Москву:

«Аз, грешный, владыка Никон, припадая ко кресту, молю, дал бы вседержитель облегчение царю Алексею Михайловичу».

Но вести из Москвы были одна хуже другой. Монахи спорили, кто будет царем. Вечерню слушали нерадиво, не до вечерни было...

В Кремле у постели умирающего не продохнуть: бояре, духовенство, окольные. Тут и братья царицы, и сестры, и дочери. У самых подушек — царица Софья, из-за ее спины выглядывает князь Василий Васильевич Голицын. Он вежливо шепчет на ухо боярину Матвееву:

— След спокой государю дать, удали лишних.

Матвеев строго говорит:

— Уймись ты, государь бояре.

И больной певчий голос царя:

— Выйдите, воздуха мало.

Царь приказал, ничего не поделаешь.

Вывалились в соседнюю палату, расселись по лавкам. Ждут, крестятся, помалкивают.

Лекарь из золотой ложечки поил Алексея Михайловича питьем, тот глотал, слюна у губ пузырилась. Прошептал:

— Наталью Кирилловну.

Ослушаться бы! Не Нарышкиным тут торчать. Но послушаться нельзя. Пошли приглашать. Не шибко торопились: не великих кровей Нарышкины — мелочь, не Милославские, не Голицыны. Все же позвали:

— Государыня Наталья Кирилловна, тебя царь требует.

Кремлевские палаты. В опочивальне жарко, надышали. В Архангельском и Успенском соборах непрерывные службы о здравии.

Стрельцы у ворот строгие. Их спрашивали, каково здоровье пресветлого, — не отвечали или одно слово «проходи». На них смотрели со страхом — теперь они сила. Молчит сурово Стрелецкая слобода. А когда она молчит — трясется у бояр бороды.

Дни бежали. На восьмом году штурм царские войска взяли Соловки. Начались дикие расправы с монахами и разницами, особенно доставалось последним, скрывшимся на Соловках от разгрома отрядов Степана Тимофеевича.

В царском дворце в день последнего штурма Соловков благочестивый царь Алексей Михайлович почувствовал скукоту. «Тоска заела! Ах какая тоска...». Сходил в нужник, поблевал, вернулся, едва передвигая ноги, в опочивальню, прилег на постель. Лицо стало желтым, дряблым. Врачи

ставили банки, выпускали царскую кровь. Это не помогало. Лоб покрылся испариной. Молодая царица Наталья Кирилловна Нарышкина вытирала лоб белым платком.

Алексей Михайлович стонал:

— Ах, как тошно!

От микстуры его тошнило. Придворные бояре толпились в соседней комнате. Встревоженный Федор Алексеевич спрашивал:

— Что с батюшкой государем, что?

Никто ответить не мог.

К вечеру Алексей Михайлович повернулся на спину, и струйка крови облила подушку. Широко раскрыл глаза.

— Прощай, Наташа,— проговорил, с трудом ворочая языком.— Страдаю...— Но и умирая, отдавал распоряжение о казни соловецких мятежников. Вскоре у царя глаза сделались тусклыми, он вздохнул, и сердце его остановилось.

— Его царское величество государь Алексей Михайлович почил в бозе,— протяжно объявил боярин Морозов.

Наталья Кирилловна заплакала.

— Хоронить следует государя быстрее,— сказал лекарь.

Печально звонили колокола, а приближенные уже готовили все для последнего обряда...

Узнав о смерти царя, Иван Светов перекрестился по-старинному, как учил его отец: «Христос, сыне божий, спаси нас», а не по-теперешнему — «Иисус Назарянин — царь иудейский».

А колокола звонили и звонили, как бы призывая скорее предать земле Алексея Михайловича Тишайшего.

### Милость нового царя

Царем объявили юношу Федора Алексеевича. Особый почет достался его наставнику боярину Матвееву и близким к нему боярам. К Матвееву и обращались за распоряжениями по всем делам. Ему, видевшему самое большое благо в распространении по России западноевропейских обычаев, надоедали старообрядцы. Он, в душе человек не злой, приказывал своим дьякам и подьячим еще строже относиться к раскольникам.

— От старой веры, от этих кликуш,— говорил он в Кремле больному Федору, слушавшему, как сестра Софья и ее друг Василий Васильевич Голицын интересно читали про Венецию,— от сих упорных раскольников, ваше величество, только одни раздоры. След их самыми суровыми указами укорачивать.

— Правду боярин молвит, Феденька,— поддержала Софья.

Голицын молчал. Он был противником строгих мер — они ожесточают народ, но спорить с Матвеевым и Софьей не решался.

— Надо бы Никона из Кириллова в Новый Иерусалим перевезти,— громко зевая, сказал Федор,— об этом Полоцкий и тетка просят.— Ты, Матвеев, пошли указ, чтобы Никона со временем освободили и с подобающим почетом водным путем отправили. А раскольников приведи к порядку. Слушаться не будут — предай их огню.

— Хорошо, великий государь,— привстав с лавки, поклонился Матвеев. Федор закрыл глаза.

— Читай, Софьюшка, дальше про Венецию. Зело занимательно.

Софья принялась громко читать. Голицын не слушал, а думал о том, какую бы жену подыскать Федору. Мал годами, но неважно. Жену надо смирную, чтобы бояр слушалась.

Вчера князь беседовал с придворными врачами. Те прямо сказали: «Сердце у его величества плохое, ноги пухнут. Это водянка». Знал Василий Васильевич, что сын Алексея Михайловича от Милославской Иван тоже болен, а вот Петруша, что от Нарышкиной,— здоров, весел и умом крепок. На него с надеждой смотрели посадские, земские чины и даже часть стрельцов.

Софья читала. Федор дремал. Его бледное лицо еще более пожелтело. Матвеев вышел из опочивальни.

— Пойдем что ли, Вася? — сказала Софья Голицыну.

Молодой царь спал. Вошедший стольник постоял, сел на лавку, опустил голову и тоже заснул.

А в царской канцелярии Матвеев диктовал дьяку Флору Яковлеву: «По повелению его царского величества чернеца Никона, что имеет нахождение в Кирилловом монастыре, немедля, с подобающим ему, как бывшему патриарху, почтением, в сопровождении иеромонаха и трех иноков, выдав ему из монастырской казны пособие, направить на вольное пребывание в Новый Иерусалим водным путем».

## Не доезжая до Нового Иерусалима

Прошло несколько лет, пока указ исполнили. В Москве не торопились. Когда в Кирилловском монастыре проведали о судьбе Никона — обрадовались. И оттого, что не надо больше за ним присматривать и писать в Москву, и оттого, что Никон получил долгожданную свободу, и что увидит свой любимый Новый Иерусалим. Никон ведь всегда мечтал успокоиться на вечные времена в монастырском храме.

Стольник Иван Николаевич Васильев, привезший из Москвы царский указ, был принят в монастыре с уважением. Сам архимандрит пришел вместе с ним в келью к Никону.

Подошли под благословение. Стольник ударил челом перед бывшим патриархом и поднес ему грамоту.

— Вашему святейшеству.— Васильев поименовал его прежним званием.— Вашему святейшеству надлежит исполнить приятное царское повеление, а нам, грешным, проявить свое уважение к столь прославленному мужу.— И он вторично облобызал руку Никону.

Да! Не тот уже Никон стоял перед приехавшим из Москвы чиновником: годы и невзгоды состарили патриарха. Прямой стан сгорбился, сетью морщин покрылось лицо. Заметно серебрились борода и волосы.

Отслужили торжественный молебен шествующим и путешествующим. Отец казначей вежливо передал Никону кожаный мешочек с золотом и серебром да икону в позолоченном окладе.

На большом паруснике подняли флаг с крестом. Инок Сергей, когда-то служивший в морях, а теперь исполнявший обязанности капитана, лихо отдавал последние приказания. Поддерживаемый двумя монахами, проследовал по мосткам на палубу Никон. Хор иноков на берегу дружно пропел «Спаси, господи». Корабль начал медленно отплывать от пристани. Сиверское озеро бережно покачивало парусник.

Никон все время проводил на палубе, в душной каюте у него кружилась голова и ныло сердце. Иеромонах отец Георгий знал лекарское дело, в своем сундучке имел необходимые микстуры и давал старику. Тот пил и говорил, отдышавшись:

— Чего-то, отец Георгий, полегчало. Мне бы только доехать до Нового Иерусалима.

— Доедете, ваше святейшество,— утешал отец Георгий, а сам по секрету сказал стольнику Васильеву:

— Кажись, не выдержит Никон, сердце больно старое, ослабло, да и волнуется отче. Валерианова корня разведу еще.

Васильев огладил остренькую рыжую бородку.

— Старайся, больно уж охота молодому царю лицезреть патриарха в Новом Иерусалиме.

Леса вокруг озера было много. Деревья, стройные, как мачты, упирались в небо, синее и холодное. Избы по берегам с высокими окнами, рыбацьи лодки покачиваются на волнах.

— Красота божья! — сказал Никон.— Скоро ли доедем?

Васильев, склонив голову, почтительно ответил:

— Скоро, ваше святейшество, уже видны рыбаки иерусалимские.

В Ярославле остановились на короткий отдых. Соборное духовенство, воевода, посадские встречали на пристани Никона. Старик только благословил верующих, но с корабля не сошел. Воевода и ярославский епископ предлагали Никону отдохнуть в архиерейском доме — успокоить свое тело на мягкой перине. Он отказался.

Отец Георгий сказал ярославскому епископу:

— Ничего не сделаешь, преосвященный, поизносился патриарх, не чаю, как довезем его до монастыря.

Отплыли. Сидя в кресле, Никон подозвал перстом Георгия, слабо молвил:

— Слушай мою волю, отче. Похороните меня по чину архиерейскому в Новом Иерусалиме.— И замолк. Отвернулся в сторону.

Стольник Васильев сообщил боярину Матвееву с гонцом из Ярославля: «Святейший патриарх Никон не смог прибыть в свою обитель Новый Иерусалим. От сердечной болезни в бозе почил...»

Царь Федор, узнав об этом, заплакал. Он любил Никона. Сказал боярам: «Устройте все, как подобает по чину».

А в царском дворце вокруг юноши плели нескончаемые интриги первенствующие бояре: Морозовы, Милославские, Шереметевы. Плели всякие небылицы и воровали царскую казну, все, что плохо лежало.

### Боярышня и стрелецкий пятидесятник

Серафима Вельяминова по дикому своему нраву (недаром мать ее была дочкой татарского бека из Казани) решила ночью сходить к своей крестной, игуменье Новодевичьего монастыря Пульхерии, что души не чаяла в племяннице и прощала все ее шалости.

Сидела в своей светелке Серафима, смотрела в черное ночное окно и вдруг соскочила с лавки, накинула смушковую шубейку и капризно бросила Нюрке, своей любимой прислужнице:

— Нюрка, у меня есть дело до матушки Пульхерии, пойдем, милая, и не возражай.

Нюрка начала отговаривать боярышню:

— Что ты, Серафима Васильевна, пешком, карету-то ночью не заложишь, что ты, боярышня, октись!

Возражение прислужницы еще больше взбудоражило Серафиму.

— Нюрка, я хочу, не прекословь, а ежели трусишь, то я и одиноко пойду, ей-бо.

— Не пушу, ты ведь, боярышня, знаешь, что до Новодевичьего далеко, там еще паромщика нанимать надо.

— Найдем, у меня деньги имеются... Я тебе подарок сделаю.

— Серафима Васильевна, в Москве татей уйма, убить могут.

— Не посмеют, стража, стрельцы ходят, каждый час звонари в колокол бьют.

— Серафима Васильевна, пождем рассвета и пойдем,— уговаривала Нюрка.

— Тогда батюшка проснется, не отпустит... Ну возьмем со двора Аникея, он в колотушку стучит.

— Ну разве Аникея! — крестя рот, молвила Нюрка и тоже накинула шубейку.

Из сеней вышли крадучись во двор. Аникей как раз с колотушкой проходил. Спервоначала отказался: «Никак не могу, Серафима Васильевна, каждые полчаса обязан стучать. Невзначай боярин окликнет — тогда беда, батогов не миновать. Да из чего ты это к тетке в такую даль задумала?»

— Не твое это дело. На вот лучше.— И сунула в руку Аникея целых десять копеек.



Тот посмотрел, засунул денежку за пазуху.

— Ну что ж, пойдем, боярышня.

Аникей последний раз пробарабанил по доске и отворил засов.

— Пошли, Серафима Васильевна, но в ответе ты перед боярином.

Серафима сердито бросила:

— Я, я, а кто же?

Но только вышли из ворот, прошли переулком мимо церкви, как вдали показались два вооруженных стрельца. Остановили немедля.

— Куда, пташечки, собрались? Да еще с Аникеем. Ему колотушка положена, а не с девушками разгуливать.— Всмотрелись.

— А ты чья, боярышня?

Пришлось сказать. Стрельцы загалдели: «Боярина Василия? Ну нет, пошли в караулку к начальнику. Тебе, боярышня, по ночам шастать не положено».

Как не отговаривалась Серафима, ее и Нюрку повели в караулку, где горела маслянка.

Аникей же, пока стрельцы разговаривали с боярышней, успел дать лататы и через несколько минут бил в колотушку, выкрикивая: «Слушай!»

В караулке на лавке сидел стрелецкий офицер. Взглянула Серафима и охнула — пятидесятник Иван Светов! Тот вежливо спросил:

— Почто, Серафима Васильевна, вздумали по ночам гулять?

— Дурь в голову вошла. Ей-бо, без всякого умысла. Решила над теткой монахиной пошутить... Вот, думаю, смеха-то будет...

— Неудобно оное, боярышня. На улицах разбой, ограбить могут али еще чего хуже исделать.

— Да и в доме боярина уже поднялась кутерьма,— сказал молодой стрелец.

Действительно, недавно темный двор боярина Василия теперь был освещен: в окнах свечи, во дворе плошки, бегали с фонарями слуги.

Сам боярин нервно ходил по большой опочивальне, смотрел в окно, выкрикивал:

— Перепорю неслухов, перепорю болванов!

Когда Иван Светов привел боярышню в гостиный покой, где ясным светом горели два канделябра, боярин обнял сначала дочку, обнял так, что воистину видно было, как он ее любил.

— Где ты, Серафима, была? Почему отцу не сказала? — И заплакал.

— Прости, батюшка. Первый и последний раз, сама не знаю, кака ехидна мою мысль смутила,— и тоже заплакала.— Скучаю я, скучаю, вот и выдумляю.

Боярин Василий ласково сказал Ивану:

— Спасибо тебе, молодец. Заходи через денек, потолкуем.

Светов ответил низким поклоном и не спеша вышел из гостиного покоя.

### В лесном скиту

В скиту, куда приехали Наталья и Домна, их сперва приняла мать игуменя Досифея, старице было шестьдесят семь лет. Она исхудала от постоянного стояния на коленях, недоедания. Досифее казалось, что больше двух просвирок из ячменя да подвеченной теплой воды, а на обед гороховой похлебки ей ничего не полагалось. Только на рождество да светлое христово воскресенье мать игуменя позволяла себе горячего черничного киселя с медом, пшеничную лепешку да жареного на льняном масле судака. Вот какой постницей была мать Досифея. Правда, в августе, когда послушницы собирали грибы, баловала себя грибным супом, да и тот был едва заправленный сметаной. И после такой трапезы еще усердней молилась: «Да простит богородица, небесная матушка, грех чревоугодия».

К Досифее в келью и пришли Наталья и Домна. Сделали три метанья (в ноги поклонились), приняли благословенье, и Наталья рассказала, как ее взяли в тюрьму.

Настоятельница молча выслушала ее. Сказала:

— Храни и спаси тя господь, Наташенька, твои муки доходчивы до царя небесного, ибо ради старой истинной веры православной ты их преодолела. Пойдь в келарию — матушка Пелагея напоит и накормит тя. Ну а ты, раба божия, почто к нам пришла? — обратилась она к Домне.

Та упала в ноги к настоятельнице.

— Прими грешницу великую под благочестивый покров святой обители. Была я сестрой вологодского палача, исполняла всякие еретические приказы, а теперь от Натальи приняла истинную веру. Не отринь меня, матушка Досифея! Не знаю, куда мне голову преклонить.

— А мук телесных не испугаешься? — спросила мать Досифея. — При-  
мешь ли обет старой веры? Станешь ли в сем вертограде сполнять божес-  
кие законы?

— Что прикажешь, матушка, ангельская твоя душенька, исполню. Чи-  
тали мне отца Аввакума письма, — смиренно говорила Домна, все еще стоя  
на коленях.

— Быть по-твоему. Наша Наталья о тебе печется. Увела ты ее из мра-  
ка тюремного. А теперь иди в келарню, там тебе укажут, где ночевать и  
что кушать.

Домна поднялась с колен, взглянула на скорбный лик Христа над из-  
головьем нищенской постели игуменьи. На дворе темень, кое-где в ма-  
леньких оконцах келей мерцали лампадки.

### Вельяминов приветчает стрельца

Через три дня Иван Светов явился к Вельяминову. Был он в новеньком  
стрелецком кафтане со знаками различия, пистолью на боку, саблей на  
перевязи, на сапогах серебряные подковки. С боярином поздоровался  
почтительно, подождал, пока тот скажет: «Присядь на лавку, гостем бу-  
дешь».

— Как здравие боярышни? — осведомился Светов.

— Ничего, сейчас придет. А кой чин на тебе?

Иван ответил. Сказал, что имеет собственный дом в слободе, трех  
выезженных коней, хозяйство, что за домом и слугами смотрит сестра  
Анисья — вдова стрелецкого начальника из города Ярославля. Говорил  
почтительно, и это нравилось боярину.

Боярин Василий одобрительно крикнул:

— Ну и молодец ты, Иван, из молодых, да не хуже рачительных ста-  
риков. А это что у тебя? — И он указал на кошечку, что держал бережно  
в руках стрелец.

Кошечка, симпатичная, с белой грудкой и лапками, вся блестела шер-  
сткой, отливая в солнечных лучах, как слиток золота. Весь вид ее так и  
говорил: «Погладьте меня, я хорошая».

Боярин коснулся рукой нежной шерсти кошечки и заулыбался, когда  
она замурыкала, как заводная музыкальная шкатулка.

Пришла боярышня, одетая словно к празднику, и взглянула на пятидесятника. Лицо ее зарделось, в глазах мелькнула радость.

— Здравствуйте, дорогой гостюшка! — сказала певуче. При виде кошечки засмеялась. — Что за чудо!

— Я двух достал. Полковник Хмырев мне подарил. Кота отдал Анисье — та даже подскочила от удовольствия и назвала его, как и меня, Ивасиком, а кошечку решил тебе подарить, больно уж красовита.

Серафима нежно взяла на руки мурлыку.

— Спасибо большое тебе, господин пятидесятник. — Поцеловала кошку в нос. — Пуще ока беречь буду, да и тебя, молодец, вспоминать. — И таким взором окинула стрельца, что тот смутился.

— Рад тебе и отцу твоему почтенному служить, — низко склонил голову Иван. — Спасибо за доброту и ласку.

Слуга подал на блюде чарки с крепкой душистой домашней наливкой.

— Пригубь, дорогой, — с казал боярин.

Они выпили, широко перекрестясь.

— Я ее, твою кошечку, назову Искоркой, — сказала Серафима.

— Как, боярышня? — переспросил Светов.

— Искоркой, — объяснила Серафима, — шерстка у нее сверкает. — И, взяв Искорку на руки, удалилась легкой походкой.

### Искорка

Серафима теперь не могла обойтись без Искорки. Кошка спала на постели боярышни, ей была определена мягкая из заячьего пуха подушка. Под нежное мурлыканье боярышня засыпала и во сне улыбалась.

По ночам Серафиме снился теперь только Иван. На нее, Серафиму, посматривали и боярские сыновья в богатой иностранной одежде, и молодые стольники с красивыми бородками, да и солидные окольные и кравчие не прочь были скосить глаза на Серафиму. А вот подите-ко, понравился ей какой-то стрелецкий офицер: голос его вдумчивый, и глаза, смотрящие всегда без утайки, и даже стук его сапожек с подковками. Может, время пришло увлечься упрямец, может, скромность стрельца, его застенчивость, его умение разговаривать со старшими были тому

причиной — кто тут поймет, кто найдет ответ на столь щекотливый вопрос?

Да и какие тут вопросы: просто нежно мурлычет Искорка — пушистая шерстка. Слушается боярышня отца и характером стала поприветливей. Сам боярин Василий не нарадуется на свою дочку — ласковая и послушная. Дай, господи, всегда бы такая славная была!

Хорошо жилось Вельяминовым, а тут еще молодой царь Федор Алексеевич повелел, чтобы боярин Василий обязательно бывал в царских сенях, куда собирались всевозможного чина знатные москвичи. А ведь что ни говори, находиться в палате кремлевской — поистине честь немалая.

«А кто это сделал? — ломал голову Вельяминов. — Кто мне сопутствовал на столь почетном пути? Может, боярин Стрешнев, а может, и Ртищев Федор — ведь в свойстве находились».

Теперь по утрам у боярского крыльца стоял возок. Лошади лоснились, кучер сановит, в три обхвата, и для спеси еще двое слуг. Выезжает боярин в Кремль — честь ему и слава.

А ведь, собственно говоря, и Кремль не тот, не те и царские палаты, и государь-самодержец мальчишка, к тому же больной; хоть и есть боярская дума, да уж не та, что была в давние времена, — не та!

Серафима, когда уезжал батюшка, сама с помощью сенных девушек обрядится, да и проследит, как Искорка молочком или рыбкой покормится. Ходит боярышня в церковь, что рядом с домом, нельзя не ходить — приметят, да пойдут разговоры. Поставит святому, чей день празднуется, свечку да поминальник подаст, а в душе всегда за раба божьего Ивана перекрестится.

Как-то встретила боярышня на улице — шла с сенной девушкой из церкви — Ивана. Поздоровались.

— Твоя Искорка, — весело сказала Серафима, — по всем палатам разгуливает, даже у батюшки в почете, избаловалась!

Иван также похвалился:

— И у нас Ивасику хорошо.

Вести разговор на улице боярышне с молодым человеком не полагается, нельзя. Поклонились, боярышня одарила улыбкой стрельца, и они разошлись.

— Пригож парень, — сказала сенная девушка, — уж до чего хорош! Жених!

— Молчи, дуреха! — вдруг ни с того ни с сего окрысилась Серафима. — Молчи! — А сердце колотилось в груди, на щеках пылал румянец. В этот день боярышня не отпускала от себя Искорку.

### Чтица у купца Вавилова

Самым близким другом Ивана Светова был Антон Вавилов. И хотя он не принадлежал ни к стрельцкому, ни к дворянскому сословию, пользовался большим уважением среди торгового люда. Отец Антона, известный купец Ануфрий Андреевич Вавилов, имел обширную торговлю канатами, дегтем, парусиной. Его богатый дом, хорошо обставленный по желанию сына, был двухэтажным, на каменном фундаменте, но одна часть дома, в которой жил сам Ануфрий Андреевич, его жена Марфа Назаровна с дочерью Анной, имела особый распорядок. Если сын больше придерживался новых веяний, то родители жили древним укладом, скрывая, что принадлежат к старой вере. У них была особая светелка, в которой жила чтица из женского монастыря по благословению игуменьи. Вавилов, купец богатый, посылал потаенно в тотемские леса в монастырь довольно всякого припаса — и крупу, и муку, а иногда баловал монашек красной рыбой и икрой. Вот поэтому в молельной у Вавилова и жила монашка, читавшая псалтырь и следившая за иконами и лампадками. Здесь стоял аналой, и в иконостасе — древние дорогие иконы дониконовского времени. Правительство, которому было необходимо для начавшегося кораблестроительства все, чем торговал Вавилов, ценило купца и по царскому указу наградило высоким титулом торгового гостя.

Антон и Иван Светов учились вместе в трехгодичной московской школе, основанной Ртищевым, хорошо знали грамоту, цифирь и немного греческий и латинский языки.

Совместная учеба сделала их большими друзьями. Рыжий с маленькой бородкой Антон был женат на дочери стрельцкого головы Петра Акимовича Верхоянцева. У молодых был сын Прохор, которого дед заранее приучал к своему торговому делу.

Вот к этому Антону и пришел поделиться своей тоской Иван.

— Что ты печаль на себя напускаешь? — сочувственно говорил Антон. — Все у тебя есть — и дом, и сестра, и хорошая служба: ты ведь на

виду у начальства, глядишь, и сам скоро головою станешь. Жениться тебе надо, вот что! Мало ли хороших стрелецких и дворянских девиц в Москве! Да и купеческих дочек полнешенько.

— Эх, Антоша! — вполголоса сказал Иван другу. — Замучила меня тоска! И исходу ей нет! С чего это? Никак не выкину из головы одну монастырскую послушницу. — И еще тише: — Раскольница она, при мне ее изгязали в вологодском приказе, ни слова не проронила. Помог ей вместе с сестрой палача бежать. Несколько слов промолвил с нею... Зовут ее Натальей, бледная, едва дышит, а глаза! А голос! Настолько овладела моим помышлением, что больше ни о ком и мыслить не могу.

— А в каком она скиту?

— Не знаю, где-то в тотемских лесах. Туда мне ходу нет, я ведь не раскольник и все почитаю одним недоразумением.

— Скажи, Ваня, кто она — точно послушница или рясофорная монахиня, постриженная в чин?

— По-моему, послушница.

— Да, — сказал Антоша, — трудное дело, у меня батюшка с матушкой сами тайно раскола придерживаются, у нас даже в моленной чтница есть, кажется, из тотемских лесов.

— Как бы на нее взглянуть? — с надеждой спросил Иван.

— И не думай. Туда, где живет она, батюшка никого не пускает.

### Иван Светов и послушница

Ничего с собой не могла поделаться Серафима, равным счетом ничего. Молодых парней хорошего происхождения было достаточно, и многие из них готовы были послать сватов к боярину Вельяминову. Несколько свах уже беседовали с нянюшкой Архиповной: «Женихи у нас отменные, на хорошем счету у государя, да и домашней рухлядью господь не обидел».

Архиповна не раз разговаривала об этом с Вельяминовым:

— Пора, батюшка боярин, выдавать дочку за хорошего пригожего молодца. Ишь, как она глазами стреляет!

Но отец только отмахивался:

— Рано еще, семнадцать лет, не перестарок, погоди, нянюшка.

Вельяминов чувствовал себя хорошо: и в сенях государевых бывал, и достаивался поцеловать царскую ручку, и быть на боярском совете. И обо всем этом можно было рассказывать дочке — не будешь же слугам про великие дела рассказывать.

— Успеет еще хорошего жениха сыскать, такого, чтоб и ей и родителю не стыдно было.

Все помыслы Серафимы были заняты молодым стрелецким начальником. «Посватался бы,— думала.— Уговорила бы батюшку. Мог бы и в дворцовой страже служить у государя. Всем взял — и умом, и нравом».

А сам Светов стал все чаще и чаще забегать в дом Антона — не увидит ли ненароком послушницу, не знает ли она чего про Наталью. Как в колдовском сне стояла та перед его глазами.

Но вот однажды Антон, улыбаясь, молвил стрельцу:

— Ну, Ванюша, уезжают родители с сестрой в гости, всяко дня два-три пробудут. Вот тут и расспросим монашку — где твоя Наташа обретается. Обрадовался Светов.

— Обязательно к тебе загляну.

И заглянул.

Послушница стояла у аналоя и читала нараспев акафест святому великомученику Георгию. Ее тихий ласковый голос услышал Иван Светов и вздрогнул, но войти в молельню не решился: это было особое место, только для посвященных — никонианцам тут делать было нечего, его присутствие только бы осквернило келью. Попросил Антона:

— Кликни, ради бога, чтицу, близка она мне, Наталья это! О ком страдаю. По потаенности прошу тя. Дай возможность поговорить с ней наедине, но только не в молельной.

— Так я ее,— сказал Антон,— позову в прихожую, мол, по делу.

Он поднялся в молельную, проговорил:— Господи Иисусе Христе, помилуй мя.

— Чего тебе, Антон Ануфриевич? — спросила послушница.

— Сделай милость,— сказал он ласково,— спустись пониже, с тобой один важнецкий человек по тайности поговорить хочет.— И сам ушел.

Сердце у Ивана затрепетало. «Сейчас увижу, и развеются чары, уж больно исстрадался я».

Легкие шаги, такие легкие, что стрелец их не сразу услышал. И вот она перед ним.



Ах, зачем он ее снова увидел! Еще глубже стали глаза у Натальи, еще пунцовой губы, и вся она как птица — вспорхнет и не удержишь.

Увидела Светова. Вздрыгнула. Тот поклонился низко, как не кланялся и воеводе.

— Зачем пришел? — шепотом спросила она.

— Чтоб тебя увидеть, чтоб узнать, приняла ли ты монашество, али нет?

— Я смиренная послушница, — прозвучал ответ. — Тебя помню и богу молюсь, чтобы соединил он тебя с нашей истинной православной верой. А пока будь здоров, спасибо, что от смерти спас. — Поклонилась поясным поклоном и легкой тенью исчезла, прошептав: «Да хранит тебя богородица».

### При дворе Федора Алексеевича

При дворе царя Федора Алексеевича приезжавших в кремлевские палаты бояр — их сначала пускали для частных разговоров в царские сени — всегда было множество. И боярин Василий Вельяминов мало-помалу свыкался, слушал всякого рода речи, а иногда даже пытался вставить словечко.

Обидно, конечно, что не тот был двор, не чинный двор со знаменитыми фамилиями, как при Рюриковичах. Тут нередко можно было видеть господ из низших званий и сословий. Особенно много в московских палатах находилось русских, одевавшихся в польскую шляхетскую одежду. Иногда даже поляки и литовцы посещали Кремль. Вельяминов на них смотрел с подозрением, не нравилось ему, что польские паны и ксендзы преследовали православных украинцев, называя их быдлом.

«Ну времена, — думал Вельяминов, — господи, помоги!»

Однажды пригласил его к себе вельможный князь Василий Васильевич Голицын. Чего только у него не было! И ковры, и диваны атласные, и под стеклом всякие дорогие диковинки, а на стенах фривольные, писанные маслом картины. Да и сам князь был в чулках, в иноземном кафтане, усы нафабрены, а на рукавах — манжеты.

Боярин Василий в душе плевался на новое, но все же князь Голицын тезка, вхож в царский дом, и по родовитости знатнейший человек, из настоящих Гедиминовичей.

Разговаривали в гостиной палате. Боярин Вельяминов сидел в креслице, столь тонко сделанном, что боялся, как бы ненароком не сломать его, дабы не вышло смехотворно.

Князь Василий Васильевич в разговоре похвалил украинцев, которые по русско-польскому мирному договору остались на правобережной Украине под властью гетмана Богдана Хмельницкого.

— Жаль левобережных, что под панами,— сказал Голицын.

Говорил также Василий Васильевич и о том, что на вновь отстраиваемой немецкой слободе очень богато живут иностранцы. Там имеются лютеранские кирки, реформатская церковь, школы новые с музыкой и вежливыми танцами, аустерии\* и даже аптеки — и от этого в слободе одно лишь наслаждение.

Слово «наслаждение» боярин Василий слышал в первый раз, что оно означает, не знал, но, видно, что-то хорошее, и потому, выпив бокал вина, изрек:

— Зело отменно там живут и немцы, и голландцы, и прочие люди.

Вечером Серафиме рассказывал, что гостевал у князя Василия Васильевича, кое-что порицал, как истинно русский человек, но кое-что и похвалил — ведь у князя был, а не у какого-нибудь проходимца.

— Я бы не прочь, дабы к тебе кто-либо из такого знатного рода посватался,— сказал он как бы ненароком, на что Серафима гордо ответила:

— Без вас, батюшка, знаю, за кого мне выходить.

— Да это не к спеху,— отвечивал боярин,— ты, Серафима, еще младшенька, я к тебе всем сердцем привязан, годика еще два-три гулять можешь.— Широко зевнул и перекрестил рот.

А в это время, когда в Кремле зажигали свечи и слуги в нарядной одежде, в мягких сапожках (упаси боже потревожить государя) убирали сор, что нанесли с собой бояре, в опочивальне Федора в молчании сидели государевы любимцы.

Сегодня в полдень мужиковатая, широкая в кости царевна Софья разговаривала с лекарем Джексоном, который сказал по секрету (Софья его за это одаривала дорогими вещами):

— Ваше высочество, государя я обследовал тщательно, вряд ли он долго протянет.

\* Трактиры.

— Как долго? Ты, Джексон, его жене-царице докладывал? — тревожно спросила Софья.

— Ну как можно, принцесса, — пожал плечами Джексон, — у нас, английских лекарей, данное слово, что алмаз. Никто ничего, конечно, не знает, жить его величеству не более двух месяцев, а может быть, и месяц... Ноги опухли до бедер, сегодня я спускал воду. Тяжело Федору Алексеевичу, надежды мало.

Разговор велся по-латыни.

В палату вошли двое приближенных. Лекарь сделал по ришпекту поклон и вышел. Софья стояла у окна и думала, думала.

### Иван Светов на распутье

Иван Светов бросил писать дневники, и теперь до спора раскольников с никонианцами ему было мало дела.

Он с нетерпением ждал прихода своего приятеля Антона, и когда дня через три утречком Антон зашел к нему, Светов дрогнувшим голосом спросил, как там Наталья.

Антоша сел на лавку и, не глядя на Светова, проговорил:

— Ничего у тебя, Ваня, с ней не выйдет — уехала она в тотемские леса. В моленной ее заменила другая послушница, тоже молоденькая, а с Натальей отец отпустил подарки: продовольствие разное.

— А где тот скит? Скажи за ради бога!

Антон усмехнулся.

— А кто его знает, где тот скит. Довезет ее в Тотьму наш возчик, сложит продовольствие у знакомого отцу купца и обратно. А купец уже направит Наталью в скит. О том с большой оглядкой знают.

— А отец не ведает? Он-то тебе доверяет.

— Куда там! — махнул рукою Антон. — Даже и не думай, все в потаенности, отец ничего не скажет. Я к нему в душу не лезу. Зачем? Для ча? Нет, уволь, братец. Я, как и ты, считаю сии богословские дела поповскими и начетническими.

Посмотрел на Ивана, погладил по мягкой шерстке сидевшего возле него Ивасика.

— Редкостный котенок.— Помолчал и предложил: — Ты не сердись на Наталью, ей-бо. Она, пока наши с богомолья не приехали, говорила со мной: «Кланяйся стрелецкому начальнику. Передай ему земной поклон. Люблю не плотской, мол, любовью, а как брата во Христе. Молюсь за него, чтоб воспринял истинную веру, что отец Аввакум проповедует, а я, мол, постриг принимаю и буду верою служить отцу нашему небесному...»

Проговорив такую длинную речь, Антон выпил залпом кружку кваса, что стоял на столе в жбане, и взялся за шапку.

— Рад был тебе, Ваня, послужить, да не вини, что не вышло, не горюй, а лучше осемишься. Возьми какую полковничью дочь или дворянскую, свадьбу сыграй и все позабудь.

Он вышел из горницы. Иван сидел пасмурный. Кот было замурлыкал, попросился на руки, но Иван невежливо отодвинул его в сторону. Кот удивленно зыркнул глазом и спрыгнул не спеша с лавки.

Иван встал, накинул на плечо перевязь сабли, поправил на голове высокую стрелецкую шапку, перекрестился и вышел из дома.

На улице грязь, серое небо. Прошел продавец с лотком пирожков. Увидев стрельца, закричал во весь голос:

— А вот пироги пудовые! Купи, стрелец!

Иван только отмахнулся. Мысли в голове путались. Что теперь делать?

У Флора и Лавра дьячок на звоннице проверял колокола. Они звенели простуженно, невесело.

Меся грязь, навстречу Светову шел какой-то протопоп, борода длинная, кудлатая, а сам как малолеток. Посмотрел на стрельца строго, требовательно.

Иван поздоровался.

— И ты будь здоров,— отвечивал поп. Простуженно хрипели колокола. С неба стал накрапывать дождь.

### Земляная тюрьма Аввакума

Протопоп Аввакум сидел в земляной тюрьме на узкой необструганной скамье. На его заросшей седой щетиной груди болтался на тонкой веревке деревянный осьмиконечный крест. На плечи был накинут замызганный козлиный армяк. Он писал на столе на невесть как добытой бумаге огрыз-

ком гусяного пера послание к царю Федору. В нем он издевался над живыми и покойными царями, сановниками церкви, Алексеем Михайловичем, пребывающим, по его мнению, в аду:

«А что, государь-царь, как бы ты дал мне волю, я бы их, что Илия пророк, всех перепластал во один час. Не осквернил бы рук своих, но и освятил, чаю. ...Перво бы Никона, собаку, рассекли на четверо, а потом и никониян. ...Бог судит между мною и царем Алексеем. В муках он сидит, слышал я от Спаса; то ему за свою правду».

— Пишешь, протопопище? — пробормотал огрубелым голосом союзник поп Лазарь, которому резали язык. Он сидел, поджав ноги, на полатях, ибо вода в яме заливала по щиколотки.

— Видишь сам, свет, пишу царю Федору, да толку в том, отче, не вижу.

Соловецкий инок Епифаний, худой, плешивый, в струпьях, и дьякон Никифор — в глазах тоска, смотреть невозможно, — молчали, закутавшись в свои дырявые вонючие зипуны. Сильно они воняли, не обработаны были, и стрельцы, спускаясь в яму, воротили носы.

О попе Лазаре и Епифании, благословенном старце соловецком, и писал Аввакум. Их взяли по приказу Алексея Михайловича после того, как они отказались крепко и твердо от новоисправленных книг и трехперстного креста: «Скоро прискочил человек стрелецкий Василий Бухвостов со стрельцами, ухватили священника Лазаря и старца Епифания и помчались скоро, скоро и зело немилостиво и безбожно... Лазарю и Епифанию повеле царь благословенных их языки отрезать... у Лазаря кровь единым временем вся и много истече; у Епифания же по лицу довольны дни капаше... Аз же грешный Аввакум, не сподобился такового дара, но плакав над ними. Их кровавые уста целовал, благодарив бога, я сподобился видеть их мучения в наши лета, и зело утешихся радостью великою о неизгладимом даре, яко отцы и братья моя пострадали Христа ради и церкви ради. Хорошо так и добро запечатлели кровью церковную истину. Благословен бог изволивый так. Ну, светы мои, молитте о нас, а мы елико можем о вас!!»

И писал также Аввакум о дьяконе Никифоре, которому палач урезал язык.

Много писал Аввакум челобитных и писем, а кто доставлял ему чернила и бумагу, знал он да господь бог. И было это в далеком и холодном

Пустозерске. И все писания Аввакума, как ни мучили его царские власти, как ни издевались над ним, все же тайно расходились через стрельцов, староверов и людей божьих неведомых по всей Руси. Тайный распространитель челобитных и писем Аввакума старый стрелецкий урядник Пахомыч спал по ночам плохо. Их казенная изба стояла почти рядом с ямой, и он, глядя на образ пречистого Спаса, просил у бога: «Един ты ведаешь сердца наши, помилуй и спаси сих невинных узников».

Крепко аввакумовское слово входило в головы людские — так крепко, что и через сотни лет живо было еще в народе. И когда вспоминаешь об этом, приходит мысль: в них — в боярыне Морозовой и княгине Урусовой, в сотнях лишенных сана и замученных распопов и расдьяконов — чувствуешь истинную крепость духа, идущую от сознания причастности к родной державе.

И так сидели они, верные дети державы русской, сидели и мучились, и слова свои берегли, силен был в них дух протеста против несправедливой власти: сжигались сами, сжигали их, а вот сломить было трудно, как Соловецкий монастырь, где сплотился всякий народ; были и староверы, и разинцы, и беглые крестьяне.

### Конец Пустозерья

Пустозерье. Избушки по-черному у крестьян, несколько побогаче у никонианцев. Стрельцы на страже строгие, но среди них есть и добрые сердцем. Посреди городка плаха для казни, чтобы острым, как бритва, топором резать языки. Мороз. Даль дальняя. Глухомань.

Аввакум записывал последние дни своей жизни — и как записывал: читаешь и невольная дрожь охватывает тебя!

«Посем той же полуголова Иван Елагин был и у нас в Пустозерье, приехав с Мезени, и взял у нас сказку. Сиче реченно: год и месяц, и паки: «мы святых отец церковное предание держим неизменно, а... патриарха Паисея с товарищи еретическое соборище проклинаем». И иное там говорено многоныко... Посем привели нас к плахе и, прочет наказ, меня ответли, не казня, в темницу...»

И когда пустозерские отписки пришли в Москву, в Кремль, в царские палаты, Федор Алексеевич с нескрываемой злобой проговорил:

— Скольки мы их допрашивали, сколько пытали, а истинно правдивого ответа от сих пасквилянтов не получили.— Он взглянул на стоявшего неподалеку почтительно изогнувшегося боярина.— Покойный батюшка Алексей Михайлович не восхотел, дабы Аввакуму язык резали и пыткам предавали, посему оставить его без мучений, а к остальным пытку применить и отписать в Пустозерск, дабы предали их всех огненной казни.

Он вздохнул, перекрестился и пошел к себе в опочивальню.

Долго шло приказание Федора Алексеевича. И когда у измученных Аввакума и его союзников остались только одни огненные слова, полковник Иван Елагин, сам ужасаясь и чуть не плача, зачел приговор царя, гласивший:

«Аввакума, Лазаря, Епифания и Федора посадить во един сруб и сжечь за великие ~~я~~ царский дом хулы».

Четырнадцатого апреля 1682 года пустозерские узники были казнены.

Так закончилась жизнь протопопа Аввакума. Вечная будет ему память в народе, а слова его — слова великого русского писателя — навсегда останутся в русской литературе.

## ПЕТР НА СУХОНЕ

Летним погожим днем народу на пристани — не протолкнешься. Реку Вологду загромождали баркасы, пахнувшие лесом и смолой. На большом корабле поблескивали пушки, сустились солдаты в зеленых мундирах и матросы в синих мешковатых кафтанах.

Под залпы мортир, подняв охристый московский флаг с пузатым двуглавым орлом, корабль снялся с якоря и двинулся на веслах по реке Вологде на Сухону.

Молодой царь — в простой, грубого сукна куртке, на черных волосах — голландская морская кожаная шляпа. Попыхивая трубкой, стоял он у борта.

По обоим берегам Сухоны сплошной стеной сосновый бор.

— Макаров! — крикнул Петр.

К царю подбежал юноша в коричневом кафтане. У него было обветренное широкое скуластое лицо с маленькими серыми пронзительно умными глазами. Он снял с головы треух и почтительно:

— Что изволите, ваше царское величество?

Петр насупился:

— Кой раз вам приказываю, что токмо на церемониях именовать меня по титулу.

— Звиняюсь, Петр Алексеевич, запомятовал.

— Ну то-то. Скажи мне, сколь обширны здесь леса? Смотрю и мыслю — леса впрямь мачтовые, корабельные... И еще: какая рыба водится и что за тотемские соляные варницы?

Макаров — посадский из Вологды, хорошо знавший и грамоту и письмо, был примечен Петром еще в 1692 году. Что его ни спроси — все знал молодец: и как шлюзы строить, и как планы снимать, и какова история земли Вологодской. Недаром Макаров дружил с летописцем, служащим в Вологде у архиерея, Иваном Слободским.

И сейчас, стоя рядом с Петром, Макаров весело, непринужденно, что особенно нравилось Петру, рассказывал и о сухонской нельмушке, и о лесах, и о том, сколько и какого зверя в них обитает, и о соляных варницах, где работный люд мрет как мухи.

— Поистине, Петр Алексеевич,— говорил Макаров,— приказчики и надсмотрщики там — волки лютые. Не токмо тело, а и душу вынимают из людишек, что по осьмнадцать часов в сутки работают...

Петр помрачнел, маленький рот сложил в трубочку, свистнул:

— Вот уж сам погляжу...

— Поглядите, поглядите, все едино легче не станет...

— Несуразицу плетешь, Макаров! Несуразицу! — и отвернулся.

В каюте капитанской накурено — не продохнешь.

Петр налил в оловянную чарку «романей», что отдавала сивухой, закусил белозерским сушем.

— Алексашка! Ты уху рыбацкую едал?

Александр Данилыч Меншиков — пригож, затянут в мундир, на шее жабо кружевное, чисто выбрит, глаза бирюзовые, пальцы с длинными ногтями унизаны кольцами.

— Мальчишком едал, Петр Алексеевич, в Покровском на озере карасей ловили. Ух, караси! Не поверишь, господин адмирал, таких и у вас —



в Немецкой слободе — на фриштык не подают, огромные карасищи, в сметане.

Франц Яковлевич Лефорт ласково:

— Вам, Александр Данилович, можно лишь позавидовать!

— Нет, Алексашка, рыбацкая уха — не караси в сметане! — засмеялся

Петр. — Не едал ты ее. Авось до Тотьмы ушицы попробуем.

И попробовали. Углядели деревушку, а на берегу сети на кольях сушатся, и мужики бородатые, лапотные, у лодок.

На шлюпке, захватив бочонок рома, поплыли к берегу.

Мужики, встречая гостей, кланялись и притворно ахали, — знали, чем больше удивления, тем тороватее гости будут.

— Пожалуйста, батюшки-бояре, сейчас мы неводишку закинем!

— Вы поскорее, черти, нам недосуг! — торопил Петр.

Тогда седой рыбак с бельмом на глазу сурово:

— Ты, парень, чертей-то не собирай, а ежели недосуг, то скатертью дорога.

— Ты потише, дед, — прикрикнул Александр Данилыч, — с царем разговариваешь!

Старик поклонился Петру:

— Прости, государь! Не чаял в таком обличии царское величество видеть.

— Ладно, — махнул рукой Петр, — невод закидывайте...

И уже дымился костер, и в большом закопченном чугуне кипела уха из нельмы, окуней и язей. Запах шел такой дразнящий, что не выдержал царь: шербатой ложкой зачерпнул, попробовал, обжегся, глаза выкатил:

— Эх и уха знатная, Алексашка! Не чета твоим карасям в сметане.

Хлебали уху, угощали рыбаков ромом. Подошли жонки, им тоже Петр приказал поднести по чарке, а на прощание подарил деду серебряный рубль — целое состояние.

...Перед Тотьмой царь переоделся в мундир, натянул ботфорты со шпорами, опоясался португеей со шпагой.

Встречали тотьмичи торжественно. Служили в соборной церкви молебн, а затем угощали. Петр и свита пили много, за столами шумели и веселые непотребные истории рассказывали при мужних женах, коих царь велел привести на обед. За ними особенно ухаживал Александр Данилыч,

именуя их неведомыми прозвищами — «венер» и «цирцей», чем причиняя конфузию.

На другой день гости посетили Спасо-Суморин монастырь. Съездил Петр и на соляные варницы, что на берегу речки Ковды.

Варницы произвели на него тяжелое впечатление. Полуголые людишки в грязных домотканых портах вываривали соль, поднимали из варниц тяжелые бадьи. От разъедающей соли, от неимоверной жары глаза у рабочих покрасневшие, воспаленные, гноятся, на теле язвы.

— О, дорогой Питер, это напоминает преисподнюю! — ужаснулся Лефорт.

Приказчики услужливо поддерживали Петра за локти, чтобы, упаси боже, пресветлый государь не свалился в яму, а по сухому, по мосточкам прошел.

Солевары кланялись царю, а на придворных смотрели исподлобья, их приветствия были вымучены: сзади стояли хожалые и десятники с палками для поднятия народной радости.

— Чем мужиков кормите? — спросил старшего приказчика царь.

— Да чем, ваше величество, соленой рыбкою, квасом, капустой, редькою, а в праздники — толокно с конопляным маслом.

— А ты, небось, не редьку жрешь! — посмотрел Петр на гладкое, сытое лицо приказчика, — видишь, какое хайло, все одно, что игуменское седалище. Пришлю дьяка из Москвы, дабы ваше воровство выявить.

— Мы вашего величества холопы, как велишь, так и будет!

Царь самолично поднял тяжелую бадью с соляным раствором, вспотел страшно, мускулы напряглись. Вытащив бадью, протянул ладонь:

— Эй, главный, уплати!..

Приказчик из кошельа высыпал серебро на царскую руку. Петр подбросил серебряные монеты, и они рассыпались у ног приказчика.

— Ты мне уплати — сколько им платишь.

Приказчик побледнел, но не посмел послушаться.

Царь взял медяк и бережно положил в карман камзола.

— Дорогая денга! — сказал Меньшикову.

К исходу четвертого дня пребывания в городе пошли дальше.

Петр с корабельного мостика смотрел на Тотьму. Дома и церкви утопали в пышной зелени. Улицы тянулись на взгорье, а с соборной звонницы мягко и весело перекликались колокола.

## ИЗОГРАФ

Лысый протопоп, снимая епитрахиль, сердито спросил:

— Доколе своей образиной храм божий пакостить будешь?

Человек в коричневом кафтане, с лицом желтоватым, бритым и тоскливыми глазами, резко ответил:

— Доколе не сдохну.

В храме было холодно, сыро. Сквозь решетчатые окна сочился белый гуманный рассвет. Он казался молочным и слабо освещал стены храма. От этого молочного полусвета блекли переливчатые тона красок на фресках. Синие, пурпурные, золотисто-лимонные, они уходили к церковному куполу и там замирали.

Протопоп важно пошел к выходу, снисходительно отвечал на поклоны редких прихожан. Старый дьячок в старом заплатанном черном подряснике торопливо гасил мерцающие лампадки. Высокий худощавый ктитор, с козлиной бородкой, в сером кафтане, недовольно пересчитывал свечную вырубку.

Протопоп подошел к нему и густой октавой спросил:

— Скудная лепта, Петрович?

Ктитор, что не шло к его высокой фигуре, тоненькой фистулой ответил:

— Гроши, отец протопоп!

Человек в коричневом кафтане вдруг засмеялся. Смех гулко отдался в стенах храма.

— Ты это чего, еретик? — удивился протопоп.

Человек посмотрел на купол. Там в сером тумане плыли золотистые кони, невиданные цветы и веселые святые.

— На косушку хватит? — И человек протянул руку к ктитору. Тот плюнул в сторону.

— Иди, иди, — как-то испуганно проверещал он. — Иди, ради Христа!

Человек надел на растрепанные белесые волосы смешную рыжую треуголку и торопливо пошел к выходу. Вслед ему протопоп уронил:

— Пускать не след анафему!

Большая площадь тянулась от церкви к низеньким пузатым деревянным домишкам. Рыхлый талый снег хлюпал под ногами. По-весеннему кружились галки и вороны над обнаженными деревьями.

Засунув руки в карманы, человек шел по площади.

На углу был кабак. Человек дернул дверь, и его обдало запахом сивухи и пирогов.

\* \* \*

...Был год тысяча семьсот двадцать четвертый. Март. Город Вологда.

Ранним утром, прыгая на снежных ухабах, кожаная кибитка со слюдяными оконцами неслась по Олонецкой дороге к городу. Возница в овчинном полушубке, привстав на облучке, дико гикал на лошадей.

За кибиткой едва поспевали сани; в них, подняв воротники полушубков, сидели двое преображенских солдат.

В кожаной кибитке было полутемно и стоял густой табачный дым. В неудобной позе — велик ростом — сидел пожилой мужчина, закутанный в меховой плащ. Треуголка от толчков сползла на ухо. Черные пряди волос лезли в глаза. Щетинистые усы двигались. В другом углу, в шубе и меховом чепце, дремала полная женщина.

Глаза мужчины были закрыты. Вот он открыл их, и, черные с желтизной, они по-орлиному вспыхнули и снова закрылись.

Мимо мелькнули белые стены монастыря со сказочными башнями. На башнях сидели вороны и по-весеннему каркали. Снег мокро шлепал, отскакивал от конских копыт. Промелькнули пригородные амбары, постоянные двory, каменная тюрьма, и по деревянному мосту кибитка ворвалась в город.

Церкви с золотистыми главками, церкви с синими куполами, церкви с шатровыми колокольнями стояли над тишиной деревянных одноэтажных и двухэтажных домиков.

Ближе к центру тянулись каменные палаты купцов, вросшие в землю лавки. Над всем городом царил великолепный белый собор с венценосным золотом пяти шлемов.

\* \* \*

Человек в коричневом кафтане вышел из кабака. Его широкое русское лицо с мясистым носом и полными красными губами было оживленно. Серые глаза смотрели уверенно, а старая треуголка с повисшими краями

была надета заливчатски набекрень. Он остановился на крыльце и посмотрел на церковь. Золотая луковка храма смело вонзала блестящий крест в серое небо.

Человек сказал:

— Ишь, куда лезет!

В молочном тумане послышалось гиканье ямщика и конский топот. Взмывленная тройка остановилась у крыльца кабака.

Дверцы кибитки раскрылись, и показалась фигура высокого пожилого мужчины в меховом военном плаще. Он выпрямился во весь рост, плащ спустился с правого плеча, и закраснели отвороты зеленого мундира.

И тогда человек в коричневом кафтане взглянул в лицо военного. Кроме глаз, он ничего не видел. Глаза были орлиные, черные, с желтоватым блеском.

Старая, с обвисшими краями треуголка сорвалась с головы. Белесые растрепанные волосы взметнулись по ветру.

— Узнал! — сказал военный густо и хрипло. И вздрагивающее в ответ:

— Узнал, ваше величество!

— Ну, коли узнал, тащи чарку анисовой и крендель!

Человек метнулся в дверь, забыв поднять треуголку. Через минуту он выскочил обратно. За ним бежал кабатчик, держа на подносе большую оловянную чарку с вином и крендель. Царь взял чарку: выпил, отломил кусок кренделя, обтер обшлагом рукава губы и бросил серебряный большой рубль на поднос. Затем, повернувшись к человеку в коричневом кафтане, спросил:

— Из каких будешь?

— Изограф, сиречь мастер живописного дела, — прозвучало в ответ.

— Добро, — сказал царь. — Приходи ко мне на подворье.

Когда лошади отъехали, живописец поднял треуголку и, глядя вслед кибитке, тихо, как бы не веря себе, проговорил: «Государь Петр Алексеевич!...»

Его лицо просияло, и он почти побежал по мокрому лежалому снегу по направлению к церкви, все время повторяя:

«Государь Петр Алексеевич!...»

\* \* \*

Когда живописец снова вошел в церковь, там никого не было, кроме дьячка. Положив на скамью кусок дерюги с толченым кирпичом, он начищал подсвечники. Работал с увлечением, любуясь сверканием красной меди.

В церкви стало светлей. Притушенные утром росписи сейчас по-молодому переливались радужными нежными тонами.

Дьячок, на мгновенье оторвавшись от своего занятия, взглянул на пришедшего живописца:

— Чего делать будешь?

— Государь Петр Алексеевич седни прибыл в Вологду,— сказал живописец.

— Ну? — спокойно произнес дьячок.— Как ему ездить-то не прискучило?! Годами, почитай, на шестой десяток пошло, и все покою нет! — И укоризненно: — Прежде государи настоящие из палат царских не вылазили!

И опять усердно зашаркал суконкой по подсвечнику.

— А чем он не настоящий? — спросил живописец.

— Чем? — нехотя молвил дьячок.— И обличем и рылом скобленным. Антихрист — не антихрист, а вроде того! — И уже не обращая больше никакого внимания на живописца, перешел к другому подсвечнику.

Живописец стоял посреди храма и смотрел на росписи. Каждый раз, глядя на эти живущие на стенах фрески, он не верил, что они созданы им. Казалось, кто-то другой, сидящий в нем, вдохнул жизнь в эти синие, золотистые, нежно-голубоватые и пурпурные краски. Он ощущал движение фигур, бег золотистых коней, красоту невиданных арок, замков, шелест ярких деревьев, запах лимонных яблок и свежесть перламутровых небес.

Вон там упоенно пляшет Саломея в сарафане московской боярышни. Алым фонтаном брызжет кровь из усеченного тела Иоанна Крестителя. Мудрый Соломон поет «Песню песней», и восемь львиц лежат на ступенях его мраморного трона.

Живописец поднял голову к куполу: золотой конь плыл по голубому своду. Гибкая смуглотелая Ева подавала яблоко Адаму. И было видно, как, нарушая библейские заветы, Адам не обреченно, а радостно протягивал руки к мерцающему желтому плоду.

Кружились в белых с синими разводами плащах серафимы, и, утверждая жизнь, упруго поправ пурпурные облака, трубили в серебряные трубы веселые архангелы.

А с купола взирал на них Саваоф и удивлялся, как и сам художник, этому яркому языческому празднеству плоти и жизни.

Живописец смотрел, и мягкая улыбка скользила по его губам. Новые, еще не собранные, но уже ощутимые образы готовы были воплотиться в сочетаниях красок. И хотя в храме было холодно и сыро, он чувствовал согревающее биение своего сердца.

\* \* \*

Петр Алексеевич вышел на крыльцо. Влажный весенний воздух. Сумерки. Талый снег. Обнаженные деревья. И проступающая сквозь пухлые облака луна.

Курил и смотрел, как струйка дыма таяла в вечернем воздухе. За эти два дня он устал от приемов городских властей, попов и обедов.

От комнат низеньких, с теплыми голландскими печами, от давящей обстановки чинно расставленных парадных стульев, пузатых кофейников и вышитых салфеточек с цветным нерусским узором тоска становилась еще сильнее. Даже присутствие больной жены, ее разговоры с хозяйкой дома, старой голландкой вдовой Гутман, раздражали.

Сердце билось неровно, прерывистыми ударами. Чувствовал, что нижняя рубашка влажна от пота. Подумал: «Не помогли марциальные воды...»

По талому снегу вышагивал солдат в полушубке, со старой алебардой в руке. Царь, взглянув на него, сказал кратко:

— Пошел вон, дурень!

Солдат испуганно поднял алебарду, для чего-то взял ее на плечо и попятился задом.

— Дурак,— сказал царь.— И на солдата не похож, Аника-воин.

Вспомнил, как посетил епископа Павла. Не узнал владыку: оплешивел, поглупел и растолстел. Когда в Петербурге от купели дочь Лизу принимал, был густоволосым, чернявым, веселым. Вздохнул: «На других посмотришь и поймешь, что годы назад не ворочаются».

Трубка зло засипела — кончился табак. Царь выколотил золу и сунул трубку в карман камзола.

На берегу, внизу за обрывом, молодой бабий голос запел: «Эх ты горе, горе горькое». К нему присоединился густой бас: — «Горе горькое...»

Голоса плыли над хмурой седой рекой и были красивы и печальны. «Эх, и тяжко мне, сиротинушке», — поднимался выше женский голос. «Без родного батюшки и без матушки», — вторил ей бас.

— Хорошо поют на Севере, — проговорил царь.

Совсем близко прохлюпали шаги. Прохлюпали и остановились.

— Ваше величество, — послышался тихий голос.

Царь, не удивляясь, спросил:

— Кто пустил?

— С берега реки до вашего величества пробрался. С городу-то охрана стоит.

— Это ты, живописец?

— Я, — прозвучало в ответ, и просяще: — К вашей милости государевой!

Передохнул и жарким шепотом:

— Червь и прах — перед лицом вашего величества, червь и прах.

На царя пахнуло запахом вина.

— Но мыслить, государь, с измальства приучен, а окрест меня одни камня, хоть голову расшиби — не поймут.

— Чего просишь? — царский голос был суров.

— Правды взыскую!

— Какой? И где ее предел?

— Несть предела. Правда конца и начала не имеет — всевечна она.

Царь засмеялся. Смех был колюч и резок.

— На чем правду утверждаешь?

— На претворении жизни!

— А как сие претворяется?

— Ваше величество претворяет ее славными деяниями, а аз недостойный — ремеслом своим. Каждый по своему разуму отечеству служит.

— И претворил?

— По силе своей претворил, а никто и знать про то не хочет. Велегласно смеются, перстами тычут, аки на разбойника. Я, государь, храм расписал Ивана, что на Рошенье. Душу всю вложил, а одиноким остался.



Царь спросил повелительно:

— Толком скажи, чего надобно?

Человек упал на колени в снег и, тычась головой о каменные ступени, воскликнул:

— Пойдем со мной, государь, в храм, недалече тут, посмотришь...

И ответил просто царь:

— Пойдем!

За обрывом на реке певцы заканчивали:

...Не сыскать мне, бедному, талант счастья,  
Коль на сердце спрятано горе горькое...

И как бы подтверждая это, мужской голос уронил:

«Горе горькое...»

\* \* \*

Долго будили в сторожке дьячка. Старик после всюнощной спал крепко и проснулся нехотя. Надел стоптанные валенки, накинул подрясник на исподнее.

— Иисусе Христе,— зевая проговорил он, высовываясь за дверь. Увидел солдата с алебардой, за солдатом стоял живописец и рядом с ним исполинская фигура в меховом плаще и военной треуголке.

— Чего надо? — грубо спросил дьячок.

Но когда солдат цыкнул на него, старик оробел:

— Прости, Христа ради.

Живописец подошел ближе и тихо на ухо дьячку:

— Государь тут. Бери ключ и отворяй храм.

Дьячок, взглянув на высокую фигуру, стремительно бросился в сторожку за ключом.

— Господи,— шептал он, разыскивая ключ.— Господи! Спаси!

Через несколько минут тяжелая церковная дверь растворилась, и царь вошел в мрак, сырость и холод каменного здания.

Дьячок высек огонь, затеплил огарок и от него стал зажигать лампадки. И по мере того как свет распространялся по храму, оживали, переливаясь, краски на стенах.

— Сим утверждаю! — дрожащим голосом сказал живописец, указывая рукой на фрески.

— Утверждаешь правду жизни? — спросил царь.

Он стоял высокий, не снимая треуголки. Лицо было недовольно, обрюзгло, и темные с желтизной глаза смотрели поверх головы живописца.

Маняще улыбалась Саломея. Фонтан крови из усеченной главы Крестителя радостно вздымался кверху. Трубили в серебряные трубы полирующие облака архангелы. Пел «Песню песней» Соломон, и грациозные львицы простирались у его ног.

Зажженные паникадила, колеблясь от сквозняка, двигали фигуры на стенах, и, оживленные в гармонии красок, они кружились перед взором царя, а сверху, с купола, смотрел на них Саваоф и удивлялся.

Царь поднял голову и, взглянув на лик Саваофа, усмехнулся:

— Зело отменно!

Смех отдался в сводах и возвратился обратно.

— Проглядели, кудлатые,— уже спокойно произнес Петр.

Живописец заворуженно смотрел на царя. Его лицо, озаренное светом лампад, было встревожено и полно ожидания.

— Тако выдумать, надо голову иметь! — сказал Петр. Достал из кармана трубку, набил табаком. Прикурил от свечки, что держал дьячок. Тот зашипел от негодования, мелким крестом осенил грудь. Государь прошел в алтарь.

— Дед! — крикнул оттуда неожиданно озорным голосом. — Тащи огня!

Дьячок, творя молитву и озлобленно посматривая по сторонам, исполнил приказ.

Семь свечей вспыхнули желтоватым блеском и отразились таким же блеском в зрачках у государя.

В алтаре, как и в храме, радостно утверждала жизнь певучая гамма неумирающих красок. Перед взором царя плясали пророки, великомученики и просто мученики. И царь снова сказал:

— Зело отменно!

Табачный дым, густой и терпкий, плыл из алтаря. Дьячок крестился и фыркал.

— Подойди, малый,— сказал Петр живописцу.

Живописец, трепеща, подошел.

Царь быстро взял его за плечо своей сильной рукой и улыбнулся.

— Готовься,— сказал,— поутру в Москву, а оттуда в Санкт-Петербург поедем. Будешь у меня парсуны писать и первого Данилыча изобразишь, чтоб плясал, как та девка на стене.

Еще раз затянулся дымом и, гремя шпорами, вышел из алтаря. Живописец едва поспевал за ним.

На пороге притвора царь остановился, снова оглядел стены и весело проговорил:

— Правду молвил, здоров ты, парень, жизнь утверждать!

Луна смотрела из-за облаков. Спокойно спали приземистые домики, хлопал снег под ногами.

\* \* \*

Царь, ложась спать, сказал Екатерине:

— Знаешь, Катя, где я был? — На немой вопрос жены ответил: — Веселым святым молился. Един тут человек, живописец, великую мне милость оказал, великую: при всякой препозиции должно жизнь утверждать, должно!

Замолчал, посуровел.

— И покуда в груди моей сердце бьется — истину утверждать буду, Катя!

— Спи, Петруша,— сонно молвила Екатерина.

В соседней комнате на затейливых часах выскочила маленькая серебряная кукушка и кокетливо прокуковала двенадцать часов.

А живописец шел домой. Он жил на том берегу реки.

Луна то скрывалась, то снова показывала свой лик. Шлемовидные луковичы Софийского собора освещались дрожащим лунным светом.

Живописцу надо было пройти по деревянному мосту, а он не видел дороги. Питербурх, столица, новый рай стояли перед его взором. В ушах звенел голос царя: «Зело отменно!» Сердцу было тесно в груди, и живописец закричал:

— Зело отменно!

Мятущийся крик его вырвался на простор мартовской блеклой ночи, и не было уже дороги. Живописец, размахивал руками, бежал вниз по снежному косогору. К реке. Лед местами потрескался.

У самого берега была прорубь, в которой бабы по утрам полоскали домотканое белье.

— Зело отменно! — победно прозвенел голос, и живописец вдруг почувствовал толчок, потерял равновесие. Пронизывающий холод охватил его крепкими объятиями. В последний миг, когда тело очутилось подо льдом, сердце дернулось порывисто сильным ударом, дернулось и остановилось...

Большая ворона опустилась на лед. Внимание ее привлек черный предмет, лежавший у проруби. Кособоко подпрыгивая, ворона приблизилась к нему. Скосила глаз и клюнула, затем досадливо каркнула и, тяжело взмахнув крыльями, полетела по направлению к собору.

У проруби осталась лежать смешная треуголка с обмякшими краями.

## ТУРГЕНЕВ И ВЕРЕЩАГИН

Василий Васильевич Верещагин был не чужд писательству. Его воспоминания, дневники, статьи, беллетристика для исследователей его творчества дают богатый материал. Из книг Верещагина мы узнаем и о его дальних путешествиях, и о круге его знакомых, друзей, о круге его увлечений.

А увлекался наш знаменитый земляк иногда сверх меры, был он человек вспыльчивый, энергичный и никому из власть имущих не позволял наступать себе на ногу. Понятно, что и неприятностей испытать Василию Васильевичу пришлось немало.

К простым людям — солдатам, младшим офицерам, ремесленникам, крестьянам — он относился добродушно и гостеприимно. Свидетельство тому — его книга с портретами «незамечательных русских людей». Их незамысловатые биографии трудной, подневольной жизни и нищенской старости хорошо характеризовались названиями портретов: «Старушка-кружевница», «Мастеровой-вологжанин», «Отставной дворецкий», «Старушка-нищенка» и другие.

Попасть в категорию друзей Верещагина было не так уж просто. В свою мастерскую он пускал не каждого, а титулованных особ даже в ранге великих князей просил «не беспокоиться посещением его жилища». Среди тех, кто пользовался его гостеприимством и неизменным уважением, был и Иван Сергеевич Тургенев.

И. С. Тургенев, который подолгу проживал в Париже (совместно с семьей знаменитой артистки Полины Виардо), очень хотел побывать в ма-

стерской В. В. Верещагина под Парижем. А тут началась русско-турецкая война, и Верещагин помчался на Балканы. И лишь после войны художник Боголюбов сказал ему как-то:

— Есть один человек, очень, очень желающий с вами познакомиться...

— И кто такой?

— Иван Сергеевич Тургенев...

«Я был душевно рад тому и просил приехать в какое угодно время», — писал позже по этому поводу сам В. В. Верещагин (см. в его кн. «Очерки, наброски, воспоминания». СПб, 1883).

Несколько слов об А. П. Боголюбове (1824–1896). Он был человеком сановным (тайный советник — статский генерал, удостоенный орденов Анны и Владимира), близок к придворным кругам, его запросто принимали в царской семье; в то же время Алексей Петрович, живя в Париже, всегда старался помочь русским художникам. Вместе с И. С. Тургеневым он организовал в Париже «Общество взаимного вспоможения и благотворительности русских художников» и был его председателем, а Тургенев — секретарем. Членами-учредителями являлись М. Антокольский, А. Харламов, И. Дмитриев-Оренбургский, Ю. Леман и др. Боголюбов уважал и ценил «передвижников» — В. Поленова, И. Крамского, И. Репина, К. Савицкого. Будучи по материнской линии внуком А. Н. Радищева, он в память своего знаменитого деда основал в Саратове художественный музей имени Радищева (1885), при музее была открыта школа. На содержание этих художественных учреждений Боголюбов завещал свое состояние. Как художник-маринист он создал немало примечательных произведений. В молодости Боголюбов служил на флоте, любил море. Им оставлены интересные воспоминания, в которых отведено место и И. С. Тургеневу («Записки моряка-художника» в кн. «Лит. наследство», том 76).

Итак, Иван Сергеевич поехал в пригород Парижа, где жил художник. Дом Верещагина был удобен для творческой работы. В нем были две огромные мастерские. Здесь создавались и индийские картины, и картины из балканской войны, являющиеся вершиной творчества В. В. Верещагина. Возросший интерес художника к массовым сценам, его уважение к русскому солдату, наконец, патриотический и творческий подъем, а также тяжелая скорбь о погибшем под Плевной горячо любимом брате Сергее (служившем одно время в канцелярии вологодского губернатора) опреде-

лили тот мощный пафос, с каким художник работал над картинами, как он сам выражался, «о великой несправедливости, именуемой войной».

Его лучший друг и истолкователь Вл. Стасов сравнивал военные картины Верещагина с изумительной серией гениального испанца Франсиско Гойя «Бедствия войны», посвященной партизанской войне испанцев с армией интервентов Наполеона Бонапарта. «После Гойи был только один художник в Европе, который подумал и почувствовал то же, что и Гойя, насчет войны — это наш Верещагин» (В. Стасов в его работе «Франсиско Гойя». Избр. соч., т. II).

В мастерской художника Тургенев застал приятеля Верещагина — знаменитого генерала М. Д. Скобелева, героя Плевны. Верещагину хотелось крепко обнять и расцеловать писателя, произведения которого «Записки охотника» и «Отцы и дети» были любимы им с юности и повлияли на формирование его взглядов. Ведь Тургенев принадлежал к «отцам» поколения Верещагина — между ними была разница в двадцать пять лет. Но в присутствии Скобелева выражать свои чувства художнику не хотелось, и он только крепко пожал руку писателю.

Ивана Сергеевича покорили картины Верещагина. Туркестанскую серию Тургенев просмотрел, проезжая через Москву к себе в усадьбу Спаское-Лутовиново в 1876 году, когда купленные П. М. Третьяковым верещагинские полотна были выставлены в трех залах Московского общества любителей живописи. На гуманиста Тургенева они произвели глубокое впечатление. Здесь, в прекрасно обставленной мастерской он видел три начатые работы из турецкой войны. Как свидетельствует сам художник, Тургеневу особенно понравилась «Перевозка раненых»: «Каждого из написанных он называл по имени: «Вот это — Никифор из Тамбова, а это — Сидор из-под Нижнего».

\* \* \*

Друг другу они понравились, завязались приятельские отношения, стали они особенно близкими, когда Верещагин в 1879 году устраивал свою выставку в Париже.

В статье известного исследователя биографии и творчества Тургенева И. С. Зильберштейна «Выставка художника В. В. Верещагина» (в кн. «Лит. наследство», т. 73, кн. 1) приводится ряд примечательных фактов, не-

использованных в монографиях о Верещагине. Среди них письмо Тургенева от 15.12.1879 в редакции крупных парижских газет о Верещагине.

«Особенностью этого таланта,— писал Иван Сергеевич,— является упорное искание правды, физиономии, типического в природе и в человеке, которые он передает с большой верностью и силой, порой несколько суровой, но всегда искренней и величественной. Это стремление к правде, к характерному, наложившее со времен нашего великого писателя Гоголя свой отпечаток на все произведения русской литературы, проявляется также под кистью Верещагина и в русском искусстве».

Рецензия-письмо Тургенева, авторитетнейшего к тому же человека в Париже, имела, конечно, в глазах журналистов немалое значение. Вообще, французы к выставке нашего земляка отнеслись гораздо душевнее, чем англичане. Вторая лондонская выставка художника (первая — в 1873), открытая летом 1879 года, вызвала ряд откликов, по преимуществу враждебных, хотя были и одобрительные.

Надо иметь в виду, что выставка происходила после русско-турецкой войны, а британское правительство приложило много стараний, чтобы помочь Турции. Естественно, английские правительственные или близкие к ним газеты сочли необходимым умолчать о выставке или, как говорит В. В. Стасов, «казнить русского художника молчанием, только бы не высказаться одобрительно о предмете, для них ненавистном» («Еще о выставке Верещагина в Лондоне»). А некоторые газеты расхваливали те работы Верещагина, где были показаны архитектурные памятники Индии, типы ее жителей, пейзажи.

На парижской же выставке пресса высказывалась восторженно о работах художника с редким единодушием, и в том есть доля заслуги добрейшего Ивана Сергеевича Тургенева, постоянно расхваливающего и в обществе, и в беседах с писателями и журналистами своего русского друга.

В одной из влиятельных бельгийских газет перед открытием выставки сообщалось: «Романист Иван Тургенев намеревается рассказать историю г. Верещагина. По правде говоря, жизнь этого живописца-путешественника сама похожа на роман».

Хороший знакомый Тургенева писатель Ж. Валлес не без парадоксальности восклицал: «Своей палитрой, своей кистью Верещагин принес человечеству больше пользы, чем Наполеон со своей великой армией причинил ему зла».

Жюль Кларети — крупный искусствовед и критик, знавший и художника, и Тургенева, — написал предисловие к каталогу выставки. Высоко оценил Верещагина и такой прославленный парижский «мэтр», как живописец Мейссонье, которого Верещагин иронически именовал «его живописное величество». Добиться похвального слова от Мейссонье было трудновато.

В день закрытия выставки — 4 января 1880 г. — Василий Васильевич в письме к В. Стасову сообщал:

«...Такая масса народа, что ни входа, ни выхода». В русских газетах тоже появился ряд благожелательных отзывов о парижской выставке. Помощь, оказанная Тургеневым в выставке, была дружески и благодарно встречена Верещагиным.

В конце 1881 г., после венской выставки, Верещагин начинает хлопотать о выставке новых картин в Париже. И снова И. С. Тургенев оказывает ему своим авторитетом посильную помощь.

Верещагин снял помещение в редакции одной из бульварных газет, владельцем которой был выходец из России, бывший преподаватель Петербургской медико-хирургической академии Цион — человек неважный и хитрый.

Но выставка закончилась раньше, чем предполагалось. Это видно из письма Тургенева Дмитрию Васильевичу Григоровичу: «...Здесь на днях Верещагин поколотил редактора... в залах которого были выставлены новые (весьма замечательные) картины нашего бурного живописца. Этот редактор... (Цион — одесский еврей, бывший профессор)... Но вам лучше всякого другого известно, как трудно «варить пиво» с Верещагиным. Выставку картин закрыли; а жаль — публики ходило много, они производили великое впечатление. Впрочем, он отправляется на выставку в Берлин, где, наверное, будет иметь столько же успеха, как и в Вене».

Сам Верещагин в письме к В. В. Стасову (от 15–27 декабря 1881 г.) писал, что доктор Цион оскорбил его знакомого, а ему надерзил. «Тогда, — признается Василий Васильевич, — я ударил его по роже два раза шляпою, которую держал в руке; на вытянутый им из кармана револьвер я вынул свой и направил ему в лоб, так что он опустил оружие и сказал, что он сказал мне грубость по-приятельски».

У меня сохранились «воспоминания» литератора М. И. Ванюкова, опубликованные в журнале «Голос минувшего». Интерес представляет



здесь глава «Русский Париж», касающаяся того же инцидента. Когда редактор Цион, «бывший профессор-ретроград в медицинской академии в Петербурге,— пишет Ванюков,— вздумал фанфаронить перед Верещагиным, тот ударил его шляпою по носу, а потом напечатал в газетах «опровержение слуха, что будто у него с г. Ционом дело дошло до подсвечников». Парижская публика, всегда сочувствующая смелым людям и презиращая трусов, которые не умеют защищать свою честь, очень сочувствовала Верещагину». Там же М. И. Ванюков отмечал: «Верещагин даже очень популярен в Париже, главным образом, конечно, за свои военные картины, которыми он старается отучить человечество от войны».

\* \* \*

Часто задается вопрос: хорошо ли понимал И. С. Тургенев произведения изобразительного искусства? Был ли он знатоком или просто любителем?

Решить это довольно сложно. Из писателей, несомненно, в живописи тонко и верно разбирался Федор Достоевский. В его романах (особенно последнего периода) мы видим много замечательных — и по психологическому анализу и по художественному восприятию — высказываний. Великолепным критиком был и любимец Тургенева Всеволод Гаршин, посвятивший ему свой потрясающий «Красный цветок». Статьи и рецензии Гаршина на ряд выставок картин (70—80-х годов XIX века) — злободневны и остры. А Иван Сергеевич?

В «Записках моряка-художника» Боголюбов говорит, например, что Иван Сергеевич превозносил до небес венгерского живописца Мункачи и не захотел понять своеобразия и гениального трагизма Александра Иванова в «Явлении Христа народу». Мнение Боголюбова разделял и Илья Репин, одно время бывавший у Тургенева и писавший с него портрет: «Тургенев сам мне признавался, что он плохой критик, и это верно. Он не смеет иметь своего суждения, ждет пока скажет Виардо» (цит. по ст. И. С. Зильберштейна «Репин и Тургенев» в «Лит. насл.», т. 76).

Вообще, знакомые и друзья Тургенева — Верещагин, Савина, Крамской, Полонский и некоторые французы — считали, что влияние Полины Виардо отрицательно сказывается на психологии и на всей жизни писате-

ля. У Тургенева была коллекция картин, среди них работы Добиньи, Руссо, фламандца Теньера-младшего («Отъезд») и другие. Пейзаж Руссо он затем продал Третьякову.

То, что Тургенев правильно понимал творчество Верещагина, что и некоторые другие полотна русских мастеров заслуживали его одобрение, свидетельствует, что во вкусе ему отказать было нельзя. В письме Я. П. Полонскому из Буживаля от 16 сентября 1879 года он упоминает: «Картины Верещагина в Лондоне я видел. Они очень хороши, хотя несколько грубоваты — и произвели эффект». Это, конечно, правильно. И непонятно, как Тургенева могли привлекать зализанные портреты Харламова, имя которого сейчас почти позабыто.

Дилетантизм ли это?

По-моему, нет: ошибки — да, заблуждения — да. Но понимание изобразительного искусства — пусть по-своему, по-тургеневски — у него было. Только хорошо понимающий человек может так убежденно заявить: «К живописи применяется то же, что и к литературе, ко всякому искусству: кто все детали передает — пропал; надо уметь схватывать одни характеристические детали. В этом одном и состоит талант и даже то, что называется творчеством» (позту Я. П. Полонскому из Буживаля, 10 сентября 1882 г.).

В. В. Верещагин навещал больного Ивана Сергеевича, старался его развлечь, рассеять мрачные мысли. С редкой непосредственностью пишет художник об одном из последних свиданий с Тургеневым: «Еще с лестницы, помню, кричу ему: Это что такое? Как это можно, на что похоже — так долго хворать! Вхожу и вижу ту же ласковую улыбку, слышу тот же тонкий голос: Что же прикажете делать, держит болезнь, не выпускает».

Были еще два посещения Верещагиным писателя в 1883 г. В июле Василий Васильевич нашел Тургенева «сильно постаревшим, со взглядом мутным, безжизненным». Тогда Иван Сергеевич сказал: «Мы с вами были разных характеров, я всегда был слаб, вы энергичны, решительны».

Тургеневу была сделана операция, но все равно болезнь (рак позвоночника) прогрессировала. Умирал он в Буживале, под чужим небом, его окружали семейство Виардо и близкие к этому семейству французы.

А больной вспоминал Россию, глядя на пейзажи любимого Спасского, выполненные поэтом Яковом Полонским. Они были любительские, эти

пейзажи, но они были сделаны другом и говорили о далекой Родине. Он пишет в эти дни Льву Толстому, именуя его «великим писателем Русской земли», и просит Льва Николаевича вернуться к литературной деятельности: «Ведь этот дар ваш оттуда, откуда все другое».

Трогательно то, что последние дни перед смертью Тургенев — этот знаток многих иностранных языков, владевший французским, как маркиз, этот писатель, прозванный «западником», — разговаривал только по-русски.

Тургенев скончался 22 августа (3 сентября) 1883 г. У простой железной кровати, на которой умирал писатель, были Виардо и один русский — Александр Мешерский (молодой ученый, работавший одно время в Русском географическом обществе, друг знаменитого путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая). Он записал:

«Часу в двенадцатом в комнату взошел неожиданно Василий Васильевич Верещагин и зарыдал, пораженный состоянием умирающего». Ушел Верещагин из комнаты Тургенева в первом часу, а в два часа Иван Сергеевич скончался, и черты его лица приняли «необыкновенно ласковый и мягкий отпечаток». Это сообщение было помещено в газете «Новое время» 3 сентября 1883 г.

Из Буживаля дали телеграммы друзьям покойного, в том числе — Верещагину.

Русские художники в Париже подписались на серебряный венок, на котором были выгравированы их фамилии (разумеется, и Верещагина). Французские деятели культуры торжественно проводили гроб усопшего в Россию. Были речи, венки, делегации. Франция отдавала траурные почести великому писателю — достойно и почтительно.

Великого писателя похоронили 27 сентября — 9 октября 1883 г. на Волковом кладбище. На пути траурной процессии стояли толпы народа. Венки были от 173 организаций, учебных заведений и обществ.

Василий Васильевич Верещагин всегда с уважением вспоминал Тургенева, которого он считал в числе своих духовных отцов и о котором писал Стасову: «Повторяю, такое полное высокое творчество, как мне кажется, встретишь не у многих: кроме Пушкина и Льва Толстого, разве еще у Лермонтова в его прозе».

## НЕИСТОВЫЙ СЕМИНАРИСТ

Василий Сиротин тогда был в богословском классе Вологодской семинарии. Но слава его, как зловердного поэта, широко распространилась по городу и губернии. Этого высокого несуразного семинариста в старом сюртучке, перешитом из отцовского дьяческого подрясника, в фуражке с оторванным козырьком, с лицом веснушчатым, курносым и с печальными глазами побаивались и в канцелярии губернатора, и у его преосвященства епископа. Сам владыка изрекал отцу-ректору семинарии:

— Вы бы, отец-архимандрит, сего неисправимого юношу к церковному покаянию склонили бы, а то он на вас сочиняет, что вы — «лихой тиран». Пономарский сын, кутейник, а тоже бессмертия ищет!

Епископ когда-то учился в Московской академии, был не чужд изящной словесности и запомнил переданные ему секретарем консистории стихи семинариста Сиротина. В прологе к поэме «На докладе у сатаны» поэт восклицал:

Я Данте друг по Аполлону,  
Собрат по лире мне Гомер.  
Так дайте ж путь мне к Геликону —  
Скрывать таланты не манер.

— Поразмыслите, отец Ювеналий, ему «скрывать таланты не манер». Лавры поручика Лермонтова, коего убили на дуэли, не дают покоя нашему бурсаку.

— Что же я могу сделать, владыка, — развел пухлыми руками дородный ректор. — Я уж, кажется, надзирателям велел строго наблюдать за воспитанниками, обыски тайные устраиваем. Вчера у богослова Преображенского Епифания в сундучке нашли переплетенные в корке проповедей на Дванадесятые праздники статьи Белинского и Искандера из светских журналов. Ну сделал отеческое внушение, на поклоны поставил, ведь не исключать же оканчивающих курс!

— Да, конечно, веянье времени, — владыка перебирал кипарисовые четки, по-старчески шевелил мокрыми губами. — Вы, отец-ректор, присматривайте за Сиротиным, а как кончит образование, в глухомань сошлем к зырянам, пусть там на оленях и собаках путешествует, аки апостол.

И зашелся епископ нутряным смехом.

Что б ты окочурился,— зло подумал ректор, смотря на развеселившегося сухого старичка, закутанного, как куколка гусеницы, в лиловый шелк.— Не могу утруждать вашего преосвященства,— поднялся ректор и, получив благословение, ткнулся носом в костлявую ручку епископа.

Выйдя из архиерейского подворья, окруженного каменной кремлевской стеной, ректор медленно (была несносная июньская жара) пошел по направлению к собору. Семинарскому кучеру сказал разморенно:

— Езжай, я пешком.

Напротив Кремля Софийский собор сверкал пятью огромными шлемами. Строили собор при Иване Васильевиче Грозном, чтоб стоял бы соперником новгородской Софии. Потом уже при Федоре Алексеевиче мастер Дмитрий Плеханов со своей артелью расписали дивно собор фресками, и любил отец-ректор на них глядеть. Как все высокого роста люди, он уважал все монументальное.

София была открыта, и ректор вошел в прохладу каменного храма. Большая во всю стену фреска Страшного суда с трубящим в золотую трубу архангелом была чудесна и ступни ног архангела под белым хитонем попирали облака зримо и весомо. Смотрели со столпов на человека в черной рясе князя Владимир Киевский и Александр Невский.

Кто-то вздохнул рядом. Ректор оглянулся. Там стоял обрюзглый в сером летнем подряснике соборный протопоп Василий Нордов, любимый семинаристами за либерализм и знание местной истории. Но ученый протопоп, магистр богословия не нравился московскому митрополиту Филарету Дроздову, и властный митрополит приказал «не давать ходу вологодскому умнику». И был протопоп как бы в опале. Служил в соборе, изыскивал в архиве материалы по церковной археологии, по вечерам почитывал Плутарха.

Ректор поздоровался.

— Дивно у вас в соборе, отец Василий, благодать, одно только меня занимает: почему на столпах русские князья? Ведь полагается по канону первыми писать греческих святых и апостолов, ибо свет православия мы от греков восприняли?

— Восприняли, восприняли,— буркнул протопоп,— не будьте рабом буквы. Художник правильно изобразил на почетных местах Владимира, Александра. Невместно им, стоятелям за русскую землю, уступать свои права грекам и римлянам.

Чтобы не впасть в ересь, ректор повернул разговор на фреску «Страшного суда».

— Скольким злодеям уготовлен путь во ад!

Нордов загрохотал.

— Ой, уморили, отец Ювеналий, не одни злодеи в ад попадают, а и благочестивые сановники. Вспомните преталантливые строфы поэмы вашего ученика и моего тезки: «В аду под закоптелым сводом, где жарят грешников в огне!»

— Увольте, Василий Иванович! — взмолился отец Ювеналий. — Я сюда отдохнуть душой пришел, а вы меня Сиротиным угощаете. Я им завтракал у владыки, не могу больше, я монах, служу государю и митрополиту Филарету...

При упоминании имени Филарета, протопоп нахмурился и, не прощаясь, отошел.

А виновник всех разговоров семинарист Василий Сиротин сидел на уроке догматического богословия. Слушал преподавателя иеромонаха Нифонта. Разбирался вопрос о дьяволе. Кто такой дьявол?

Нифонт приводил мнение блаженного Августина о том, что дьявол — это ангел, восставший против бога и вступивший по своей воле на путь зла. Сиротин смотрел на преподавателя печально и даже скорбно. Его взгляд мешал Нифонту сосредоточиться.

— Ты что, Сиротин Василий, узоры на мне лицезреешь? — спросил он язвительно.

Сиротин поднялся со скамейки.

— Выходит, отец иеромонах, что зло есть проявление свободной воли?

Преподаватель покраснел.

— Ты не мудрствуй лукаво, Сиротин, в попы готовишься, а не в философы. В следующий раз поставлю кол за несусветные вопросы, садись.

— Спасибо, отец Нифонт, вразумили меня грешного.

Послушно сел. В тетрадке нарисовал ангела с ликом иеромонаха, приделал Нифонту на голове закругленные бараньи рога. Семинарист Петр Предтеченский с удовольствием следил за работой Сиротина. Нифонт получился очень схожим.

Сиротину рисунок нравился. Он принялся детально отделять его. Затем углубился, придумывая рифму на «барана». Рифма выходила нецен-

зурная. Это забавляло Василия. Он не заметил, как сторож позвонил в колокольчик.

Конец сороковых и начало пятидесятых годов были тяжелыми для воспитанников губернских учебных заведений. В Вологде везде процветала слежка. И за теми, кто жил в пансионах, и за теми, кто снимал частные квартиры. За семинаристами, кроме воспитателей, для поддержания «благочиния» надсматривал блюститель — «классный цензор», назначаемый из доверенных воспитанников. Были еще и так называемые «приоры» — ученики, следящие за поведением своих товарищей в пансионе. «Приоры» ежедневно доносили инспектору обо всем: и о тех, кто ругался, и о тех, кто за обедом шум производил, и о тех, кто слишком много светских книг читал.

Если просмотреть старинные классные журналы духовных училищ, просто диву даешься, какими оценками увеселяли свое воображение отец-ректор и преподаватели: «По греческому языку морокует», «По всем предметам плетет», «По катехизису безуспешен», «Потребуется побуждения» (т. е. наказания), «Разумеет по-дурацкому». И лаконичные: «Ленив, туп, нерадив».

Схоластика, иезуитский надзор, издевательство над личностью семинариста иногда приводили к печальным историям.

Ректор Виссарий доносил семинарскому правлению, что «ученик нижнего отделения Доримедонт Милославов пропал с квартиры, оставив записку, чтобы нигде не искали его живым, он вознамерился утопиться».

В Вологде (в некоторыми вариантами) существовали нравы, так ярко описанные Помяловским\*. Были и драки между «кутейниками» и учениками других городских училищ. Полицейстер рапортовал губернатору, что им установлено по субботам строгое наблюдение на Плацпарадной площади за семинаристами, «дабы кулачных боев с увечьем не происходило».

Впоследствии отношения между воспитанниками гражданских и духовных училищ сделались миролюбивыми, и часто они совместно выступали против распоряжений начальства. Но это уже относится к шестидесятым

---

\* Помяловский Н. Г. (1835–1863) — писатель из разночинцев, автор книги «Очерки бурсы», в 1862–1863 гг. печатавшейся в журналах «Время» и «Современник».

годам, когда Вологда была буквально переполнена ссыльными студентами, народниками, либералами, когда идеи Добролюбова — Чернышевского стали достоянием молодежи.

На Калашной улице, в Заречной части, в доме вдовы мещанки Варвары Михеевой, жила ее племянница сирота Поля. Тетка Варвара держала Полю в страхе божьем. Заставляла ходить в храм, говеть в великий пост, а так как у девушки был неплохой голос, то и петь по субботам и воскресеньям в церковном хоре.

Тетка брала на дом стирку от чиновников, платили ей гроши, но работы было много. Белье Варвара стирала не только чисто, но по особенному деликатно, а гладила так, что соседки твердили:

— У тебя, Михайловна, талант, легко гладишь, пышно гладишь!

Поля научилась другому мастерству. Маленькие проворные руки быстро и звонко перебирали коклюшки, и под их речитатив расцветали из льняной нитки невиданные цветы и небывалые травы. Обучила ее мастерству знаменитая художница по кружевам Анфия Федоровна Брянцева, жена вологодского чиновника.

Молодость свою Брянцева провела в селе Несвойском Вологодского уезда. Деревенские подруги, кружевницы и певуньи, раскрыли перед ней высокий мир народного творчества, которому Анфия Федоровна посвятила свою жизнь. Зная ее уже глубокой старушкой в восьмидесяти годах писатель-краевед Николай Иваницкий отмечал, что она обладала «недюжинным умом, замечательной памятью, работала без усталости целые дни и еще пела».

Дочка ее, Софья Петровна, — а Поля знала ее еще шестнадцатилетней Сонечкой, веселой хохотушкой и, как мать, певуньей — стала обновительницей всего кружевного промысла. Брянцевы обучили многих вологодских девушек, создали первые в России штучные изделия, новые рисунки для сколков, используя в них народные мотивы. Сонечка окончила столичную Мариинскую практическую школу и тоже дожила до преклонных лет. В конце века она была смотрительницей кустарного склада губернского земства, и нет ни одного руководства по народным промыслам, где бы не упоминались прославленные имена Брянцевых.

Поля была рекомендована Анфией Федоровной как отличная кружевница многим дамам дворянского и купеческого сословий. Купчихи зака-





тетка Варвара приседала перед старичком, у которого на парадном сюртуке блестел золотом и эмалью анненский крестик. Еще бы! Надворный советник и кавалер! У-у! Звери они все, поголовные звери, губители и грабители душ человеческих.

Когда-то он начал писать поэму «На докладе у сатаны», хорошую поэму. Написал пока еще половину. Чтобы позлить власти, попросил знакомого писца Ваньку Молостова перебить в пяти копиях. Одна из них попала в канцелярию Вологодского губернатора. Там чиновники размножили, и «пошла плясать губерния»!

В первых главах Сиротин показывал внутренность ада, где мучили грешников. Среди них было много и знакомых всему населению уважаемых сограждан. Фантазия семинариста, знакомая с Данте и церковно-славянскими апокрифами, оказалась неистощимой. Она сверкала как народный лубок, она мстила искрометной фразой, меткой издевкой. Грешники висели на крючьях по стенам, их пекли в печках, жарили как баранов, коптили как поросят, разваривали в котлах как осетров, сажали на горячие противни и сковородки.

И смотрел на все это сам владыка ада Вельзевул. У трона его подземного величества почтительно толпились черти-министры и черти-сенаторы, а губернские черти докладывали о делах Российской империи.

Без скромности: эта сцена получилась совсем неплохо, особенно когда Вельзевул, грозно сверкая зелеными глазами, спросил:

— А где вологодский черт?

И через толпу придворной мелочи пробирается юркий с длинным хвостом черт-володжанин. Он умен, дипломат и философ. Изящно изогнувшись, виляя хвостом сообщает, что в Вологде:

Полицмейстер — главный вор  
и обжора из обжор,  
Доложу — сей молодец  
Для полиции отец:  
Каждый будочник\* доволен,  
Обирать калашниц волен.

---

\* Так в дореформенное время назывались рядовые полицейские чины, дежурившие в казенных полосатых будках.

Конечно, в поэме много еще несовершенного,— думает, ворочаясь на своей лавке, Василий,— некоторые разделы написаны различными размерами, но ведь иначе он не мог. Ему казалось, что для выражения одной мысли нужен ямб, для другой — хорей, а где и анапест.

Лежал. Вздыхал. Думал. И стояла перед ним, как живая, Поля.

— А что в ней, в сущности, хорошего? Худенькая, глаза одни да коса льняная. Ну конечно голосок — колокольчик. И если взаправду — то и глаза — синь озерная — глядишь и утонешь. Вот и утонул Василий. Спать надо. Завтра семинария. Греческие переводы. История православной церкви. А ты — о девице... Стыдно, Василий!

Каков же был старинный город Вологда со своими двадцатью пятью тысячами жителей? Град, ведавший неизмеримой губернией, где один Усть-Сысольский уезд (Зырянский край) вместил бы две Швейцарии?

Это разбросанный на многие версты город, со слободами: Говорово, Кувшиново, Ковырино, Прилуки. В центре — городская дума и площадь с тремя церквями. Гостиниц четыре около главной улицы — Каменного моста. Две назывались по русским столицам: «Москва» и «Петербург», две — по иностранным: «Париж» и «Вена». Пятая «Светлорядская» помещалась в северо-западном конце торговых рядов. Наиболее дешевая. Здесь останавливались провинциальные чиновники, священники, небогатые купцы. Тротуары были дщатые, улицы мостились булыжником, каменных домов насчитывались — десятки, деревянных — сотни и сотни. Многие деревянные особняки поражали внешним видом: изукрашенные пилястрами, колоннами и по наличникам причудливой резьбой. В городе бульвары обсажены тополями и березками, большой архиерейский сад. А на плац-парадной площади — старый деревянный развалюха-театр, где выступали первоклассные столичные актеры и лучшие провинциальные труппы.

Непролазная грязь на окраинах, на площадях. Плохое фонарное освещение. Посреди города — речка Золотуха, зеленоватая от тины, вонючая от свалки нечистот.

Зато хороша была река Вологда, с ее набережной и каменными особняками. Зато пятьдесят девять церквей будили своим звоном обывателей и три монастыря — два мужских, Прилуцкий и Духов, и женский, Девичий, молились за царя и благодетелей.

Звонили колокола густо и настойчиво. Звонили басом и альтом. Подзвывали тенорами.

Звонили. Будили. Усыпляли обывателей.

Пятьдесят девять церквей. Три монастыря.

Дили-дили-бом. Бом-бом!..

Знакомству молодых людей предшествовало следующее обстоятельство: отец Сиротина пономарь Иван Степанович из церкви уездного Грязовца по старости выходил «за штат». У его жены Екатерины Петровны, еще крепкой и моложавой, скончался дядя, бездетный вдовец, псаломщик из прихода «Николо-Пенье». Скончался, а перед смертью в присутствии священника, волостного писаря и двух крестьян составил завещание, по которому передавал племяннице хороший дом пятистенки, денег сто рублей серебром, лошадь, дойную козу и куриную мелочь, возглавляемую пестрым петухом Митькой. А так как у пономаря в Грязовце кроме разваленной избышки да плохой коровенки было еще две дочери-подростка, то решили переехать в деревню.

На счастье семейства Сиротиных настоятель Никольской церкви предложил Екатерине Петровне занять вакантное место просвирни. Старуха-просвирня болела и печь просворы и заправлять кутьи было ей в тягость. Арендовав три десятины земли, решили Сиротины хозяйствовать. Пономарь письмом попросил сына помочь при переезде.

Новое местожительство родителей понравилось Василию. Красивое было место.

На взгорье, окруженная полями и лесом, стояла большая деревня. Каменная, недавно побеленная церковь с синими куполами сверкала серебряной луковкой своей колокольни.

На поповке — четыре дома причта: священника, дьякона, псаломщика и просвирни. Сторож — он же звонарь — жил в сторожке. Это был старик-солдат, участник кавказских войн, с двумя медалями на груди: Георгиевской — «за храбрость», другой — «за беспорочную службу». С этим бывалым солдатом три вечера подряд беседовал семинарист Сиротин. И с отцом беседовал.

Заштатный пономарь купил полштофа жгучей сивушной водки и, угощая сына, вспоминал прошлое.

— Да, сынок, скажу тебе без утайки, род наш во время оно был служилый, издавна стрелецкий, нес охрану Павло-Обнорского монастыря. А после уже переехали Сиротины в Грязовец, что при царице Екатерине стал уездом. И приписали нас в мещане. А уж из мещан дедушка твой, мой родитель, стал пономарить в церкви. Ну и аз грешный воспринял его чин. А в старину мы и на Казань при Иване Васильевиче Грозном ходили. Церковными огарками не были.

Впоследствии, когда вице-губернатор на просьбу Василия Сиротина о принятии его в вологодское присутствие канцеляристом ответил грубым отказом, последний в стихотворном послании к «Господам — вершителям судеб» с сарказмом, но не без горделивости писал:

Мой прапрапрадед под Казанью  
Живот свой положил за Русь,  
И я по этому сказанью  
Породы знаменитой гусь.

Но то было впоследствии, а пока пономарь Иван простился с сыном таким напутствием:

— Ты, Василий, уже семинарию кончаешь, может попом, может чиновником будешь, все в твоей воле. Наше родительское благословение прими и живи своим умом. А нам с матерью еще двух дочерей поднимать надо. Теперь уж не ты к нам, не мы к тебе. Получай шесть целкачей, и с богом. Не поминай нас лихом. А мнится мне старику, что при твоём характере и крамольном духе из тебя арестант выйдет, тьфу, тьфу, это я так, спроста, не обижайся, Василий.

Сын поклонился низко отцу. Благословился у матери. Перецеловал сестер и в последний раз вышел из родительского дома, перекинув через плечо узелок с провизией и двумя сменами холщового белья.

Нежно желтели березки. Краснели гроздья рябины. На горизонте вырисовывался лес и золотые маковки Павло-Обнорского монастыря. По проселочной дороге вышел семинарист на тракт Ярославль — Вологда. Еще раз взглянул на деревню Николо-Пенью и унес в своем сердце синие купола и тоску родительского благословения.

По дороге встретился с солдатом-сторожем. Шел старикан из Грязовца, куда послал его настоятель к отцу благочинному с бумагами в канцелярию. Шел старикан еще бодро, размахивая руками, и на старом пехот-

ном мундире поблескивали на выцветших ленточках две медали. Шел немного под хмельком, распевая смешные куплеты:

Сам батя благочинный  
Забрался в погреб винный  
И пьет на пяталтынный  
приблизительно.

Увидел скучного семинариста. Остановился, приложив пятерню к истрепанной солдатской бескозырке.

— Не горюй, парень, живи с песней, с ней и без бабы не заскучаешь. Ты, брат, по всем статьям человек не жеребьячьей породы.

Расцеловался с ним Сиротин. На душе просветлело.

А солдат заливался:

Мы в пономарском чине  
Весь век живем в овчине,  
Нам пить по сей причине  
дозволительно!..

На два целковых приобрел Василий у знакомого трактирщика почти что не ношенный коричневый пиджак. Пиджачок достался тому в заклад от одного чиновника. За рубль в Светлых рядах купил черную сатиновую косоворотку с белыми пуговицами, за рубль же серые бумажные крепкие брюки, остальное «наследство» прокутил в трактике с друзьями-бурсаками.

В воскресное утро перед осколком зеркалаца побрился хозяйской тупой бритвой, оделся в чистое и пошел в церковь с твердым намерением подождать после службы Полю.

Волновался. А если не захочет Аполлинария с ним знакомиться? Да и слава у него, Василия, не того, подмоченная... Даже квартальный полицейский офицер при виде Сиротина, распушив по-котячьи усы, кричал зычно:

— Эй ты, стрикулист, сочинитель, ну подожди, подожди...

И грозил вслед ему заскорузлым пальцем.

Службу кое-как отстоял. «Апостола» от «Павла к коринфянам посланье» прочел не хуже заправского псаломщика.

Полин голосок звучал трогательно, отдавался в мозгу Василия. Сердце билось под новой сатиновой рубашкой то громко, то вдруг замирало, и тогда делалось семинаристу муторно.

Все думалось почему-то о важном чиновнике, целовавшем Поле ручку. Да тут еще росписи на это намеки давали: храм Дмитриевский был украшен в начале восемнадцатого века. Молодой кандидат Николай Иванович Суворов\* рассказывал семинаристам, что краски автора фресок более сильны и свежи, чем у ярославских и ростовских мастеров, и в них преобладают темно-красноватые, небесно-голубые и охристые тона. Отдавая предпочтение монументальным софийским росписям, преподаватель обращал внимание своих воспитанников на два сюжета дмитриевских фресок: о Сусанне и старцах. На одной двое старцев с вожделением смотрят на купающуюся девицу, жеманно прикрывающую ладонями свои прелести, на другой родственники Сусанны побивают камнями нечестивых соблазнительей. Камни, как пухлые мячики, летят на старцев, те в панике бегут. Обе фрески, несмотря на трагическое содержание, были веселыми: испуганные старцы комичными, а сама девица казалась довольной приключением, разнообразившим скуку маленького иудейского селения.

Взор Сиротина невольно обращался к старцам и Сусанне. Новый пиджачок жал под мышками, ворот рубахи резал шею, а семинарские сапоги — как гири.

Дьякон Амфилохий сочувственно прогудел на ухо:

— Вась, может опохмелиться желаешь, так у меня дома припасено, угощу.

— Спасибо, Амфилохий, добрый ты человек, но у меня другое.

— Сочиняешь, значит,— догадался дьякон.

— Сочиняю,— подтвердил Василий.

Поля вышла из церкви одна. С Дмитриевской набережной свернула на Архангельскую улицу. Сиротин решил. Откашлялся.

— Прошу прощенья. Несколько слов с вами промолвить.

У Поли раковинки ушей зазелели.

— Я ваше пенье и соло в хоре слушаю и получаю великое наслаждение.

— И я вас заметила. Вы прислуживаете в алтаре, читаете «Апостола». Семинарист?

— Кончающий курс, угадали. А вас звать Аполлинарией. А дальше?

---

\* Суворов Н. И. (1816—1896) — преподаватель семинарии, основатель Вологодского древнехранилища, известный археолог и историк.

— Петровной.

— Василий Иванович Сиротин. Можно вас проводить?

Кивнула головой.

Шли, не замечая прохожих, смотрели на них осуждающе двухэтажные и одноэтажные домики с мезонинчиками и антресолями, с палисадниками и цветами.

Начало осени.

По булыжной мостовой в разворот повстречалась веселая компания подгулявших приказчиков. Суконные поддевички нараспашку, чтобы видели александрийского шелка голубые рубашки. У одного новенькая гармонь. При виде парочки ударил веселую. Затем нарочито визгливым тенором:

Полно девка, молодиться,  
Говори, как водится:  
Баско ходишь, где берешь?  
Дай расписку, с кем живешь?

Приказчики захохотали.

Шли в разворот. Дорогу не уступали. Гармонист нахально:

— Девка, брось своего тощего гуська, идем с нами, мы не обидим, приголубим, народ денежный, веселый, целуемся взасос, до печенки и до слез.

Поля испугалась. Схватила Василия за руку. У того желваки заходили на лице, глаза озлились.

— Ну дор-рогу, живо!

Сказал веско, раздельно.

Приказчики окружили, нарываясь на драку.

Тогда Сиротин изогнулся, прыгнул, выбросил кулак. Гармонист ойкнул, растянулся на мостовой.

Но тут низенький приказчик постарше остановил друзей, приготовившихся к бою:

— Хватит, ребята, это же господин Сиротин, сочинитель из семинарии, я его по одежке не приметил.— И к Василию вежливо:

— Вы раньше, Василь Иванович, в сюртучишке ходили, а не в пиджаке. Мы сочли, что это писарек со швейкой болондит, решили, значит, пошутковать.



Гармонист поднялся, взял гармошку в руки, и приказчики двинулись к набережной.

— Какой вы храбрый! — восхищенно молвила Поля.

— Ерунда! — улыбнулся Сиротин. Ему все же было лестно, что его узнали.

— Нет, храбрый, гляньте, какие они здоровые, а вы, Василий Иванович, один!

У покосившегося домика тетки Варвары росли две березки.

— Аполлинария Петровна, — сипло сказал Сиротин, — вы для меня счастье жизни составить можете...

— Я вам потом все обскажу про свое горе, — заторопилась Поля. — Завтра часов в десять пойду заказ относить, встретимся на Соборной горке. Вы не заняты?

— Я буду ждать, Аполлинария Петровна.

В дверях покосившегося домика показалась тетка Варвара. Она подперла руками бока, стояла раскачиваясь.

— Тебе, молодец, нечего тут делать, повертывай оглобли, слышишь?

Хотел Сиротин отлаять дерзкой бабе, но Поля так посмотрела на него, что он только заложил руки в карманы пиджака и отошел от калитки.

Матвей Агафонович Вахрамеев — надворный советник и кавалер орденов Станислава третьей, Анны четвертой степеней и Золотого знака за сорокалетнюю службу, — был зол и завистлив.

Злился он на судьбу, наделившую его невзрачной наружностью, злился он на молодых сослуживцев из окончивших гимназию и нахватавшихся глупых, по мнению Вахрамеева, идей. Злился он на куаферов, не могущих придумать целебную мазь для ращения волос, и еще, приватно, на свою канцелярскую болезнь — геморрой. Злился он и на писателя Гоголя. Как-то взял его рассказы, чтобы знать о новой изящной словесности, и сразу бросил. Там как раз говорилось о департаментском чиновнике, который цвет лица имел геморроидальный. Больше и не читал Гоголя, а когда речь заходила о литературе, брезгливо ронял — «Все они пакостники».

Завидовал же Вахрамеев опять-таки молодым чиновникам из гимназистов. Они умели за девицами и барышнями ухаживать, были танцоры и модно одевались. Завидовал Вахрамеев всем сверстникам, обогнавшим его по службе. Завидовал купцам первой гильдии... Да тут надо бы исписать

целых два листа. Многому завидовал Вахрамеев в свои без малого семьдесят лет.

Был он вдов. Сын давно отъехал от него в другую губернию, где служил по акцизу. Матвей Агафонович мог бы лет пять назад получить отставку с пенсионом, но предпочитал сидеть столоначальником в губернской канцелярии и получать ежегодную прибавку за выслугу лет.

Жил Вахрамеев на Дмитриевской набережной в собственном деревянном особняке из двух этажей на каменном фундаменте. В особняке было шесть комнат, изразцовые печи, старинная мебель, на подзеркальниках и в буфете фарфоровые безделушки, редкие вещицы императорского фарфорового завода и хрусталь с Урала. Посреди зала лежал настоящий бухарский ковер (устроил одно дельце купцу Витушечникову). А на стенах висели две хорошие иностранные олеографии с видами венского собора святого Стефана и Тирольских гор. Еще висел овальный портрет самого хозяина в мундире кисти художника Платона Тюрина\*. Портрет не очень то нравился Вахрамееву, хотя мундир и шитье были выписаны тщательно. Живописец слишком подчеркнул хитрость и елейность Матвея Агафоновича, но придраться не к чему, сходство поразительное.

Икон в серебряных окладах в особняке было много. В кабинете стоит киот и перед ним всегда теплилась лимпада.

Были сад и огород, которыми ведали кухарка Сосипатра и ее муж Григорий, исполнявший обязанности кучера.

Этому старому чиновнику суждено было сыграть неблагоприятную роль в судьбе поэта Сиротина и кружевницы Поли.

Матвей Агафонович посещал приходской храм Дмитрия Прилуцкого и здесь он прельстился Полей. Регент хора Мордарий Филиппович, угощенный в «Париже», рассказывал Вахрамееву о бедственном положении девушки:

— Тетка Варвара, почтенный Матвей Агафонович, племянницу не балует. Аполлинария у госпожи Брянцевой обхождению научилась...

— А поведения какого?

— Отроковица невинная, скромна.

— Женихов нет?

---

\* Тюрин Платон Семенович (1816–1882 гг.). Художник из крепостных. Портретист. Академик. Умер в бедности. Похоронен в Вологде.

— Какие там женихи, Матвей Агафонович, сами поймите, нищие, можно сказать! Разве кружевами или стиркой богатство составишь?

— Лет сколько девице?

— Восемнадцать. Бутон дамур.

— Ты это чего?

— Роза нераспустившаяся, Матвей Агафонович, вот что это обозначает.

— Ну тебе откроюсь, Мордарий Филиппович, жениться хочу. Возьми себе на память «синицу» (он вынул пятирублевую ассигнацию) да скажи Варваре, что жених сразу же перед венчаньем подпишет гербовую бумагу, дарственную на дом и землю и еще три тысячи рублей в банк и после моей смерти пенсия, как вдове советника и кавалера. Остальные двадцать тысяч сыну и внучатам, а тысячу — слугам Сосипатре и Григорию. Справедливо?

— Справедливо. Пожертвуйте, благодетель, еще красненькую, а после согласия Варвары четвертную и да будет «Исайя ликуй»!

— Не много ли? — поморщился старик. Однако вынул бумажник и положил перед регентом две синеньких.

Как и предсказывал регент, Варвара обрадовалась предложению Вахрамеева.

— Нашелся добрый барин, — лицемерно вздыхала она. — Спасибо вам, батюшка, что для сироты потрудились.

В душе Варвара жалела племянницу, но чем она могла ей помочь? Оставить в наследство гнилой домишко да корчаги с корытом. Кому нужна бесприданница? Такому же нищему, как и она? Пришлось бы Варваре на старости няньчить голышей! А тут жених, дом полная чаша. Сад, огород, птичник, свиньи. Конечно старенок женишок, да что поделаешь? Авось околумится, царство ему небесное, и станет Поля хозяйкой, барыней, а у ней, у Варвары, — ключи от хозяйства, прислуга, всякое варенье и соленье.

И сказала твердо Варвара регенту:

— Согласна я, пусть сваха присылает. Девка вся в моей горсти, она мне и крестница и племянница.

И началось сватовство.

Сваха принесла Варваре шерстяной материи на платье и бутылку вишневки, которую тут же и распили.

Аполлинарии пока ничего не говорили.

И только перед приходом жениха в субботу на вечернюю чашку чая, сказала Варвара племяннице:

— Приоденься Поля, у нас к вечеру жених твой будет.

Поля засмеялась:

— Чего это вы тетюшка женихов сулите?

Варвара серьезно:

— Я тебя, Аполлинария, просватала, хватит в нищете жить, да и мне пора отдохнуть.

— Не надо, тетенька, не хочу я.

— Разговора тут никакого быть не может: просватана ты.

— Не хочу я...

— Аполлинария, не дури. Жених твой — чиновник Вахрамеев — богач. Барыней будешь.

— Ой, тетенька, пожалейте, он гнусавый, плешивый, беззубый... Ой тетенька!

Заплакала навзрыд.

Варвара была непреклонна.

— Не хочу,— твердила девушка.

— Захочешь.

Варвара обхватила худенькую племянницу, повалила на кровать, задрала юбку и больно тяжелой рукой прачки отхлестала, приговаривая: будешь, будешь неблагодарная, я тебя вскормила, ты моей сестры дочка, ты молода, счастья не понимаешь.

Она ударяла тяжелой рукой прачки по худенькому заду, уже покрасневшему, а у самой текли слезы.

— Будешь, будешь, не желаю, чтобы ты нищей от чахотки сдохла, не желаю.

— Тетенька, пожалейте, не губите!

— Ты меня пожалей, Поля, бедность мою, руки мои больные, ноги мои опухшие.

Варвара села на пол, схватила себя за волосы.

— Тетенька, чего это вы, да разве я не понимаю?

Поля обняла тетку, опустилась тоже на пол.

Сидели, плакали.

— Я согласна,— сказала Поля.

За окном стояли березки, Полины ровесницы, на них суетились воробьи, чирикали...

Вечером приехал жених в собственном экипаже. Для пущей важности на нем был мундир с орлеными пуговицами. Плешивую голову покрывала новенькая треуголка с кокардой, а худенькие ножки путались в прицепленной с левого бока шпаге.

За ним Григорий в зеленой ливрее нес кульки.

Варвара, уже успокоившаяся, встретила Вахрамеева у порога. Кланялась низко:

— Благодетель, простите на нашем убожестве. Невеста заждалась вашего благородия.

Варвара понимала, что чем радушнее будет она к надворному советнику, тем боле извлечет пользы: бедным людям надо выкручиваться, поревели, погоревали, хватит.

— Куда вас усадить? Все у нас поизносилось, все у нас покосилось, горемычных,— причитала она, поглядывая на Матвея Агафоновича, а тот при таком приеме распустил хвост павлином.

— Рад, рад, не беспокойтесь, я тут кулечки привез, прошу вас, Варвара Спиридоновна, распечатайте, на стол, почаевничаем.

Варвара приняла от Григория кульки.

В комнате у окна в белом платьице Поля. Она была бледна. Коса спускалась до пояса, хорошая, белокурая, отличная коса. Вся ее тоненькая (ох до чего тоненькая, просто на удивление) фигурка выражала горе. Но девушка была спокойна. Тетка ее прикрасила, припудрила, даже угольком подвела и без того красиво очерченные брови.

— Аполлинария Петровна,— расшаркался перед ней Вахрамеев, беря в свои сухие, дряблые ладони ручку Поли.— Рад снова лицезреть вас и принести сердечные чувства.

И он, как всегда при встрече в церкви, поцеловал ее ручку.

— Присядьте, Матвей Агафонович,— вымолвила Поля.

— При вас недостойн,— жеманничал старик.— Когда вы займете место, тогда и я.

Поля вздохнула и села.

Гость опустил на другой заскрипевший и застонавший стул, держа перчатки и треуголку на коленях.

— Знаете, прекрасная девица, по какому поводу я пожаловал к вашей тетушке?

— Да, знаю.

Вахрамеев привстал, треуголка и перчатки упали на пол.

— И каково ваше решение?

Тетушка на кухне распечатывала кульки, восхищалась: жареные цыплята, фрукты, две бутылки шампанского, марципаны, банка паюсной икры и кусок провесной семги.

— Вот что значит богатство!

— И каково ваше решение? — вторично задал вопрос Вахрамеев.

— Не люблю вас, Матвей Агафонович, и скрывать не желаю. Но поскольку тетушкой слово дано...

— Стерпится-слюбится. Все усилия положу, чтобы быть полезным, птичьего молока и то достану-с. Я в годах, но еще молодец, ей-богу. Значит согласны быть моей супругой?

— Да.— Поля шаталась от душевной усталости.

— Не пожалеете, Аполлинария Петровна. Примите от жениха.— Матвей Агафонович вынул из мундирного кармана большой кожаный футляр. Раскрыл. И там нежно, умиротворяюще засветилось аметистовое ожерелье.

Поля, как замороженная, вбирала в себя этот нежный свет и лицо ее невольно подобрело и исчезла горькая складка у губ.

Вышедшая из кухни Варвара всплеснула руками.

— Ой, Полюшка! Благодарим благодетеля.

— Спасибо,— вымолвила невеста и взяла футляр.

Тетушка засуетилась. Накрыла на стол пеструю скатерку. Раскладывала на разнокалиберную бедную посуду богатые яства.

Вахрамеев был в восторге. Он давно мечтал иметь молодую жену. А то, что она бесприданница, его не волновало. Не волновала его и чудовищная разница лет. Не в этом суть. В голову лезли всякие сравнения, даже исторические. Не в этом суть. Молоденькая жена и спеть может, и принять даже его превосходительство господина губернатора. И перед сослуживцами лестно: глядите-ка, отхватил себе Матвей Агафонович лакомый кусочек. Не все завидовать Вахрамееву: теперь и ему позавидуют те, кто гимназии кончил.

— Танцевать умеете, Аполлинария Петровна? — спросил ласково.

— Да, Сонечка Брянцева обучила.

— И всякие светские, что на балах в столице, можете?

— Могу.

Матвей Агафонович зажмурился от удовольствия. Налил всем шампанского:

— Премного утешили. Всем взяли: и сердечком чистым, и видом ангельским, и поведением. За здоровье вашей тетушки!

И он по-ухарски залпом выпил стакан шампанского (бокалов у Варвары и в помине не бывало).

Уезжая, Вахрамеев передал Варваре две сотни. На шитье для невесты приданого и еще десятку лично тетушке, чтобы купила себе посуды чайной и столовой.

— Вот видишь, дурочка, как старичка-то проняло, задело. Теперь он для тебя закуролесит! Так-то Аполлинария!

Поля молчала. Сидела за столом, ровно мертвая. Варвара аж плюнула, тоже замолчала, пошла на кухню посуду мыть, да остаток закусок прибрать в погреб.

Кот Тронька — рыжий и всегда голодный — жрал, как собака, в углу куриные кости, стонал от наслаждения и фыркал.

Поля взяла со стола фуфляр. Раскрыла. На вишневом бархате нежно и умиротворяюще засветились аметисты.

Обо всем этом и рассказала Поля Сиротину. Они встретились на Соборной горке, присели на скамейку. Река обмелела. У перевоза качалась лодка. На той стороне особняки, церкви, налево колоколенка и воздушный силуэт Сретенской. Направо, до Архангельской улицы, Златоустинская, дальше приземистая Дмитриевская, а за нею, вдалеке, одноглавая Георгиевская.

Сиротин мял в руках картуз с надломанным козырьком.

— Мечтал я, Аполлинария Петровна, по окончании подать прошение в губернскую канцелярию, в священники я не гожусь, желание есть заняться сочинительством. Меня кое-кто знает, как поэта.

— Я в этом убедилась, Василий Иванович, когда давеча вас приказчики признали. И что сочиняете?

— Всякое. Преимущественно такое, что начальству не нравится.

— Зачем же тогда? — удивилась Поля.

— Нельзя иначе. Кругом мерзость, неустройство,— ответил Сиротин.— Теперь о нашем. Мечтал — поступлю на службу, сниму квартиру, вы туда хозяйкой пожелуете.

Поля ловила устремленный на нее взгляд Сиротина. Видела его ставшее для нее близким молодое лицо и даже его веснушки казались ей удивительно привлекательными.

Сказала обреченно:

— Что же делать, Василий Иванович? На попятный не пойдешь, срамота. Тетушка и деньги на шитье приданого получила.

Он взял ее руку, маленькую и от работы шершавую, кончики пальцев жесткие — надо коклюшки перебирать по десять часов в сутки. Взял ее руку, погладил.

— Люблю вас.

Мимо прошли двое семинаристов. По обычаю сделали вид, что незнакомы.

— Мне пора, Василий Иванович,— поднялась со скамейки.

Стояла тоненькая, как хворостиночка, одни глаза...

— Слыхали, Аполлинария Петровна, что-либо про Данте?

— Откуда мне?

— Жил с таким именем давно в Италии поэт. Он сочинил великую поэму «Божественная комедия». Там об аде, чистилище, девяти кругах. И на дверях надпись: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Это ко мне относится: «Оставь надежду».

По реке плыла рыбацья лодка. Снасти лежали на корме. Видно улов неудачен. Старик рыбак еле помахивал веслами.

— Поэт Данте всю жизнь безнадежно, да, Поля, безнадежно любил прекрасную Беатриче. С первого взгляда оба влюбились.

— Почему не поженились? — девушка подняла глаза на семинариста.

— Такова фортуна, Полечка, простите, что так называю. Несчастливая фортуна. Это означает — богиня судьбы...

Сиротин крепко сжал Полину руку.

— Уходите.

Затем достал из кармана кисет, трубку, закурил.

Долго сидел, безучастно глядя на реку.

Когда начались занятия в семинарии, тяжелое настроение Сиротина несколько сгладилось. Чтобы не растревать себя, перевелся из Дмитриев-



ского храма к Варлааму Хутынскому, там же и жил в сторожке у причетника.

Прочел в «Петербургском сборнике» Некрасова роман Достоевского «Бедные люди». Сначала было смешно, живут люди рядом в одном доме, а переписываются. И все эти бесконечные эпитеты: «Маточка вы моя», все это нытье не понравилось. Хотел бросить, но не смог. Чем дальше, тем занимательней становился роман. Маленький канцелярист Макар Девушкин был уже для Сиротина не смешным, и горечь охватывала за судьбу двух бедняков. Торжествуют богачи. Им все доступно. И почет и невесты — все на свете...

И опять по ночам бессонница, и опять хочется писать свою поэму. Садился к столу, зажигал огарок церковной свечки, писал. В сотый раз сажал в ад на всевозможные муки богачей: скулябиных, свешниковых, вахрамеевых — всех тех, кто охраняет их, всех тех, кто молится за них.

Одичал. Задавал преподавателям несусветные вопросы.

Николай Иванович Суворов как-то зазвал его к себе на квартиру. Сели в зале. За стеклом окон листопад, редкие прохожие. Николай Иванович принес графинчик черемуховой настойки. Любил историк перед обедом или во время дружеской беседы выпить две-три рюмочки.

Налил по рюмке, поставил в вазочке домашнее печенье.

— С чего вы, Василий Иванович, опечалились? Я ваш классный надзиратель. Ко мне жалобы идут от преподавателей. Какая муха вас укусила?

Суворов спрашивал деликатно, он ценил поэтический дар семинариста.

— Надоела жизнь, Николай Иванович.

— Она у вас только начинается.

— Начало не из удачных.

Семинарист залпом, подряд выпил две рюмки.

— Каковы ваши поэтические успехи?

Николай Иванович пригубил из рюмочки.

— Сочиняю, да толку что! Все равно для списков, а не в печать.

— Вашу поэму во всех присутственных местах знают. Трудно будет вам, Василий Иванович.

— Трудно, Николай Иванович. Авось, канцелярское место дадут...

— А в священники? — осторожно спросил классный наставник.

— Почему же вы не стали им сами? Вам бы как магистру богословия в столице место нашлось. Там уважают ученых попов.

— Меня наука привлекла, археология и история,— сухо сказал Суворов и сделался замкнутым, официальным.

На улице листопад.

— Герцена читаете?

— Читаю, профессор. Многие семинаристы читают. Об этом, поди, и архиерей знает.

— Одобряете?

— Всеконечно. Вам об этом заявляю прямо. Не пойдете же вы к жандармам...

— Глупости! Как не стыдно! Я вам не давал повода к таким догадкам.

Суворов обиделся. Зашагал по комнате.

Сиротин искренне удивился.

— Да чего вы это к сердцу приняли, Николай Иванович? Мы вас любим, верим вам. Если я не так выразился, простите.

Профессор успокоился. Снова стал благожелательным, уравновешенным.

— Выпейте еще рюмочку настойки,— проговорил ласково.

В зале было чисто и скучно. И казалось, что знаменитый историограф Николай Михайлович Карамзин в черной рамке на стене тихо и благоговейно дремлет...

Вахрамеев торопился со свадьбой. Сваха то и дело бегала из богатого особняка в покосившуюся избушку.

— Матушка Варвара, что ты медлишь? Жених извелся, ночами не спит, похудел, прислал еще сторублевую — торопитесь.

В Дмитриевской церкви священник уже объявление о свадьбе по правилам православных канонов сделал.

Березки у крылечка осыпали мокрую побуревшую траву сухими желтыми листьями, а Поля все еще откладывала день свадьбы.

— Не срами ты меня, Аполлинария! — зывала к ней Варвара.

Наконец Поля не выдержала и дала согласие на тридцать первое октября — на день апостола Луки и Иосифа Волоцкого.

Дьякон Амфилохий, встретив на улице Сиротина, сообщил:

— Знаешь, Василий, у нас на апостола Луку венчанье. Старик Вахрамеев и певица Аполлинария. Дедушка и внучка. Черт и младенец! Вот что

деньги делают! После свадьбы всему притчу угощение жених велел поставить. Приходи.

Василий промолчал. Ушел в архиерейский сад. Сад был большой, с прудом. Накрапывал дождь. Обнаженные деревья, листья под ногами. На деревьях галки. Пруд подернулся ряской. В беседке отдыхал бородатый лет тридцати пяти мужчина в широкополой шляпе и в черной суконной накидке с бархатным воротником. Такие носили художники и литераторы. Он курил. По запаху табак был «жуковский», дешевый. Табачный дым напомнил Сиротину о забытом дома кисете. Трубочка, однако, была в кармане семинарской шинели.

Он подошел. Представился. Бородатый сказал приветливо:

— Я заочно с вами знаком, господин Сиротин. Приятели канцеляристы дали тетрадку с вашими стихами. Я, может, слышали, слухом земля полнится, живописец Платон Семенович Тюрин.

— Наслышан про вас, Платон Семенович. Серебряную медаль выдали вам за успехи в художествах.

— Медаль не кормит, Василий Иванович. Я женился, дочка малютка. Учиться поздно начал. Я ведь из крепостных.

Разговорились о том, как трудно пробиваться без влиятельных меценатов и какие бывают подлецы эти покровители изящных искусств.

Курили поэт и художник. Беседовали.

Вышли вместе. На гладкой аллее повстречали сухонького старика в меховой шинели. За ним слуга нес зонтик и книгу.

Сиротин снял картуз, поклонился низко, как не кланялся и ректору. Приподнял шляпу и Платон Тюрин.

Старик взглянул на них. В глазах неистощимый лихорадочный блеск. Однако на поклоны ответил, кивнул головой, гордо проследовал дальше. Под его каблуками жалобно шуршали осенние листья. Это был психически больной, когда-то учитель Пушкина, друг Жуковского, Гнедича и Вяземского, отважный офицер и прославленный поэт — Константин Николаевич Батюшков.

В храме зажгли все паникадила и лампы. Свечи освещали лики икон и фрески.

Нечестивые старцы бежали по стене, побиваемые похожими на пухлые мячики камнями.

В храме благоухание ладана. Тепло. Публика чиновная, мундирная, много дам. Среди них мать и дочь Брянцевы. Они не очень веселые, им жаль молоденькую кружевницу. Пришли на свадьбу, чтобы не обидеть тетку Варвару и Полю.

По дорожке красного сукна провели жениха и невесту. Хор запел звонко, радостно: «Гряди, гряди, голубица!» Поля в белом подвенечном платье и жених в мундире. Сзади во фраках — шаферы.

— До чего ж мила и безответна, — прошептала Брянцева дочери.

Соня в ответ:

— Бедняжка, он — сушая кикимора, шишига лесная!

Варвара, в праздничном шерстяном платье, плакала. Отчего плакала, и сама не знала. Кажись, богатство и дворянство рядом с Полей. Кажись, проснется завтра ее Поля барыней, надворной советницей...

Сиротин в это время сидел в трактире и пил водку. Он пил много и ожесточенно. Знал, что сейчас венчают Полю. Пропивал то, что заработал у купца Буторова за приведение в порядок торговых книг.

Пропивал свою мечту о Поле, о семейном счастье, о любви.

Вышел, когда тускло мерцали редкие уличные фонари. На мостках чуть не упал. Шатало. Улица, казалось, перекосилась. Улица казалась пьяной.

Прислонился к уличному фонарю. Постоял, глотая сырой вечерний воздух. И опять пошел. А с ним пошла и его тоска. Тоска была неотвязчивой. Тоска требовала выхода.

«Левая, правая где сторона?»

Кто это прокричал? Для исхода тоски? Или это сама тоска?

«Улица, улица, ты, брат, пьяна».

Фонари снова тускло замелькали. То справа, то слева. Фонари не желали стоять прямо. Как же так? Ведь для каждого предмета должно быть свое место. Они пьяны, это кособокие, тусклые, как жизнь, фонари.

— Эх, господа фонари, вы ведь пьяны!

Сиротин засмеялся. Смех был грустен.

Поэт знал: на набережной, в чиновничьем особняке советника и кавалера Вахрамеева — пир свадебный, гости кричат:

— Горько!

И молодая подставляет свои юные губы сморщенному старческому рту.  
— Горько! — прошептал Василий.

«Горько! Горько!» — замигали фонари.

Из-за туч показался месяц серпиком. Было новолуние.

Эх! Как ни обновляйся месяц, а ты, старина, дружище, симпатичный ты дядя, а все равно тебе не тягаться с чиновными звездами и золотыми крестами... Не тягаться... Да ты, брат, улыбаешься? Напился, что ли?

Месяц улыбнулся и исчез. Так и не ответил.

Пошел косой дождь. Дождь и ветер. Ветер и дождь.

«Правая — левая,  
Левая — правая  
Где сторона?»

Добрел до сторожки. Вздремнул. Потом проснулся. При свете огарка начал писать. Ясно все увидел: и фонари, и месяц. Уловил и ритм сегодняшнего пьяного скучного веселья.

Раз возвращаюсь домой я к себе:  
Улица странною кажется мне —  
Левая — правая  
Где сторона?  
Улица, улица,  
Ты, брат, пьяна...

Сиротин писал. Пусть эти строки будут для таких, как он. Пусть хоть немного утешают они таких же обездоленных:

И фонари так неясно горят,  
Смирно на месте никак не стоят,—  
Так и мелькают туда и сюда,  
Эх! Да вы пьяные все, господа.

За перегородкой с присвистом храпел дьячок. Храп не мешал. Поэт не замечал его. Не до того было.

Сиротин писал. Все хорошо, только немного ломит виски. Совсем немного. Отбивал такт ногой, отбивал такт кулаком. Исправлял, ставил кляксы, размазывал чернила. И становилось легче. Тоска уходила в строчки.

Ты что за рожи там, месяц, кривишь?  
Глазки прищурил, так глупо глядишь?  
Лишний стаканчик хватил, брат, вина:  
Стыдно тебе, ведь уж ты старина.

Припев ложился уже стройно:

Левая — правая  
Где сторона?  
Улица, улица,  
Ты, брат, пьяна.

К утру стихотворение было готово. Удивился, переписывая его начисто в трех списках. Самому понравилось.

— Надо в трактир,— сказал вслух.

В трактире перед стойкой — знакомый буфетчик, сын хозяина, поклонник сиротинского таланта, любитель пения и чтения.

— Василию Ванычу,— расплылся улыбкой, протягивая на подносе чайник, стакан, два куска сахара, сайку и рюмку очищенной.

— Почитай,— Сиротин положил на стойку листок.

Парень вежливо:

— Музы вашей?

Сиротин сел за ближний столик:

— Моей музыки, ночью сочинил...

Лицо у парня просияло. Дочитал до конца. Языком прищелкнул:

— Певучая штука, Василь Ваныч, пойдет в народ, верьте слову — живучая.

Поклонник сиротинского таланта не ошибся. «Певучая штука» пошла в народ.

Через некоторое время поэт вечером повстречал двух мастеровых малярного цеха. Шли по улице, и один из них высокой фистулой выводил:

Правая — левая  
Где сторона...

Другой подхватил:

Улица, улица  
Ты, брат, пьяна...

А еще немного позднее, о чем Василий Сиротин не знал, в Москве «Улицу» издал нотный книготорговец Грессер и аранжировал для голоса с фортепьяно композитор А. Дюбюк. Только почему-то наименовал ее «Цыганской песней», и исполняли ее в цыганском хоре у «Яра»\*.

Там были иные слова: «Раз от цыганок иду я к себе», но в провинции продолжали петь по-сиротински: «Раз возвращаюсь домой я к себе».

Варьировался и припев. В Вологде, Великом Устюге, Грязовце пели: «Правая — левая Где сторона...» В других местах: «Левая — правая Где сторона...». Смысл от этого не менялся.

Через десятки лет, в 1947 году, когда в родной для Сиротина Вологде праздновали 800-летие города, знаменитый бас народный артист Максим Дормидонтович Михайлов спел «Улицу» как народную песню.

В 1957 году «Улицу» издало в Москве — в той же аранжировке Дюбюка — музыкальное государственное издательство — тоже как народную. И никто не указал имя автора стихов — вологодского поэта Сиротина.

Все это было потом, и знать об этом поэт не мог.

Но услышав, как пели «Улицу» мастеравые, он понял, что люди приняли его дар.

В ту ночь приснилась ему Поля. Не госпожа Вахрамеева, а та Поля-кружевница. Она гладила его по волосам. Потом пропала. И все пропало. Наступило серое утро под надоевший колокольный звон.

Время бежало. Как в сказке. Недели. Месяцы. Годы...

Над Российской империей отшумела Крымская война. Новый царь Александр Второй произнес свою знаменательную фразу о том, что лучше освободить крестьян сверху, чем дожидаться, пока это придет снизу. В обществе заговорили о крестьянской, судебной, земской, университетской, военной реформах.

Из Сибири вернули стариков — декабристов и петрашевцев. Молодежь зачитывалась «Современником» Некрасова, статьями Чернышевского, романами Тургенева, «Севастопольскими рассказами» Толстого. Появи-

---

\* В журнальчике «Арлекин» (1859) эта песня была в искаженном виде напечатана как «перевод с немецкого», а в сборнике издания Сойкина (1904) как «Песня пьяного студента». Автор не указан.

лись первые огненные статьи юноши Добролюбова. Достоевский напечатал «Записки из Мертвого дома».

В Вологде поставили в собор знамена ополченческих губернских дружин. На кладбище Прилуцкого монастыря похоронили Константина Батюшкова. На частных квартирах собирались врачи, либеральные чиновники, гимназисты и семинаристы, требовавшие организации земского самоуправления. Жандармы несколько растерялись, притихли, но в недрах управления вели учет списков «неблагонадежных».

А в глухом Зырянском краю, у самой тундры, далеко за уездным Усть-Сысольском\*, на забытом погосте стояли деревянная церквушка, похожая на часовню, с чешуйчатым куполом и две черные — поповская и дьяческая — избушки. Здесь жил священник Сиротин — «бачка», как звали его коми-зыряне. Жил как в полусне. По утрам с дьячком произносил заученные молитвы, выезжал верхом по требам к прихожанам, крестил, хоронил, венчал.

По воскресеньям дребезжали три захудалые колокола. Зажигали лампадки перед образами. Приходили урядник, лавочник, их супруги, почтовый чиновник, фельдшер с дочкой, старой девой — учительницей приходской школы. Ее воспитанники вразброд тянули песнопения.

После службы лавочник приглашал уважаемых сельчан и батюшку на пирог. Пили водку, сплетничали, ругательски ругали «инородцев»-зырян.

Василий Сиротин отмалчивался, не разговаривал с этой волостной знатью. И они не жаловали священника. Считали его нелюдимом, гордецом, сумасшедшим. Он не притеснял коми, брал сколько ему давали за требы, и горька была ему эта плата. Жгли ладонь медяки, и неприятно было класть в сани куски оленины или вяленую рыбу.

Здесь Сиротин был изгой. Страшное это слово — изгой. Отколовшийся от своей среды, никому не нужный.

Когда в Вологде Василий Иванович пошел наниматься на гражданскую службу, нигде не приняли. Вице-губренатор отказал пренебрежительно, председатель казенной палаты — сухо, а знакомые купцы отговаривались тем, что примешь такого вольнодумца конторщиком — начальство разгневается. Полицмейстер строго наказал никуда вредного писаку не принимать.

---

\* Усть-Сысольск — ныне Сыктывкар — столица Коми зырянской.



Епифаний Богословский, однокашник Сиротина по выпуску, устроившийся чиновником в архиерейскую канцелярию, посоветовал Сиротину:

— Знаешь что, друже, подавай прошение на место священника в Усть-Сысольский уезд. Сюда приехала за женихом дочка умершего попа из Кузьмодемьянского прихода. Все одно — никуда тебе не определиться.

— Веры у меня мало, — хмуро проговорил Сиротин. — Нет ее у меня, понимаешь, Епифаний, нет!

— Ты держи это про себя, — ухмыльнулся Богословский. — Тебе не вера нужна, а кус хлеба. Я, брат, тоже из маловеров, а помалкиваю. Кормить семью надо.

— Уехал бы я отсюда, противно мне здесь...

— Глуп, ты, Василий, выедешь из пределов губернии — обратно направят. Мог бы ты в академию податься, если бы имел первый разряд, а у тебя второй, да и то в конце.

— Нет, — решительно заключил Богословский, — женись и выходи в попы, другого места не дожидаться.

Был Сиротин и у Николая Ивановича Суворова. Тот только разводил руками, сочувствовал, обещал поговорить с ректором Ювеналием, пусть у епископа попросит снисхождения.

Архиерей был доволен. Ведь предугадал судьбу крамольного семинариста.

— Так и вышло, отец Ювеналий, так и вышло, — ехидничал преосвященный. — Будет, аки апостол, у язычников.

Ювеналий нахмурился:

— Не слишком ли жестоко, владыка? Профессор Суворов утверждает, что Сиротин талант, а мы его — на край света. Он там сопьется. Правда, сей поэт и меня высмеивал, но справедливости ради — достоин сожаления.

— Грешник он, — настаивал владыка. — Не будет ему другого места, и не расстраивайте меня, отец Ювеналий.

Невеста из Кузьмодемьянского прихода оказалась перестарком двадцати девяти лет и, судя по нездоровому румянцу, чахоточной. К тому же сварливой и полуграмотной.

Сиротина женили, посвятили сначала в дьяконы, затем в иереи, выдали «ставленную грамоту» и отправили в глухомань.

Коми — землепашец, коми — охотник и рыбак... Какие это сердечные люди, если к ним относиться без предубеждения! В каждом поселке, на каждом стойбище «бачку» Васю принимали гостеприимно. Обираемые купцами и чиновниками, спаиваемые сивухой, настоящей на махорке, терпящие неимоверную нужду, болеющие трахомой и чахоткой, они готовы были отдать последние крохи за человеческое отношение.

— Ты, бачка, больно хорош, не кричишь, не бранишься, берешь, что дают, больше не требуешь...

В дымном шалаше слушал Василий, сидя на оленьей шкуре, длинные песни и сказки о храбрых охотниках, знаменитых богатырях, о волшебных оленях в упряжках. Он рассматривал глиняных черных божков, хранителей домашнего очага и покровителей охоты.

Его не возмущало то, что эти языческие реликвии почитались в каждом доме. Наоборот, они нравились своей примитивностью. Он смеялся, слушая о том, как при удачной охоте божков обмазывали жиром, а при неудачной пороли розгами.

Епархиальное начальство требовало от Сиротина «неукоснительной строгости в отношении искоренения пагубных языческих верований среди инородцев вашего прихода», но он не обращал никакого внимания на эти приказы и отписывался кратко: «Всепокорнейше доношу, что отклонений от православной веры у прихожан Кузьмодемьянского прихода не наблюдается».

Дома жена постоянно грызла незадачливого пастыря.

— Ты, отец Василий, блаженный какой-то, пишешь ненужное, о прибытках не заботишься.

Весной и летом Сиротин с удовольствием занимался сельским хозяйством, возделывал свой кусок земли, сеял рожь, овес, репу и заготавливал на зиму дрова. Работа утомляла, давая успокоение. Зимой было хуже. Попадья кашляла, нудила причитаниями. Однажды, когда Сиротин был в отъезде, она сожгла все его рукописи: список поэмы «На докладе у сатаны», тетради по этнографии Зырянского края и новые стихи.

Как-то, узнав от прихожан, что лавочник грозит описать имущество трех бедняков коми, Сиротин решил проучить богача... После обедни верующие подходили к кресту. Среди первых был лавочник. Сиротин, протягивая ему серебряный крест, сказал:

— Возьми вместо долговых зырянских расписок, возьми!

— Что ты, батюшка, что ты! — лавочник засопел носом и отошел, как оплеванный.

Вечером лавочник и урядник писали жалобу архиерею, что священник «над религией насмехается и православных сынов церкви, царя и отечества паскудит».

Прощение кончилось требованием убрать Сиротина и посадить его в монастырскую тюрьму.

За погостом тянулись леса, а дальше шла тундра, где паслись олени стада. Зимой там было белым-бело, и удивительно хорошо проехать на оленьих нартах со знакомым охотником. Простор тундры, гортанные песни, стремительный олений бег, опрокинутое небо над миром тишины, — все это настраивало на поэзию.

Однажды, вернувшись домой, Сиротин застал жену, державшую у рта окровавленный платок. Она взглянула на него ненавидяще:

— Довел ты меня, поп, до гроба.

Василий хотел обнять жену, сказать что-нибудь утешительное, ласковое.

— Не подходи! — закричала страшно она.

Василий опешил, сел на лавку, а она, откашливая кровь и вытирая губы платком, плакала:

— Умру к весне я, отец Василий, освобожу тебя.

Весной Сиротин похоронил жену. К лету пришел указ из консистории, коим вменялось местному начальству отобрать у иерея Сиротина за недостойные поступки и ззорное поведение «ставленную грамоту» и взять с него подписку о явке в Вологду к архиерею для дальнейшего решения его участи.

Долго вспоминали жители Коми «бачку Василия», их друга и незлобиво-го человека.

Далее судьба Василия Сиротина затерялась в неизвестности. Только в официальной записке «О состоянии вологодского духовного училища за сто лет его существования», составленной смотрителем В. Лебедевым, в списке второго отделения фамилия Сиротина сопровождается примечанием, что этот «известный во всей Вологодской губернии поэт был священником в Зырянском крае, по лишению сана был в Америке, умер в Вологодской губернии».

В воспоминаниях Алексея Попова, изданных в 1911 году, три странички отведены Сиротину. Попов — бывший Вологодский семинарист, при-

зная талант старшего коллеги, почему-то ничего не сообщает о поездке поэта в Америку, а говорит лишь о том, что его сослали на покаяние в Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере. Попов перечисляет стихотворения поэта, в том числе «Улицу», особенно выделяя поэму «На докладе у сатаны».

При сопоставлении этих сведений с теми, что удалось почерпнуть у краеведов и в архиве, дальнейшая судьба Василия Ивановича Сиротина рисуется примерно так. Очевидно, свободолюбивый поэт в Соединенных Штатах не прижился. По всей вероятности, русские моряки помогли ему вернуться обратно в Архангельск.

Сиротин приехал умирать на родину. Епархиальные власти задержали его и сослали «на покаяние» в суровый Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере.

Старый больной поэт вынужден был посещать церковные службы, отмаливая земными поклонами грехи. Сырая келья, полицейский надзор отца-игумена, плохая пища окончательно подорвали здоровье. Обращения к столичным высокопоставленным особам о помощи оставались безответными. Только один раз из канцелярии ведомства императрицы Марии прислали пятьдесят рублей. Поэт-бедняк с горечью писал:

Живу на Каменном у Спаса,  
Приют мой нынче — монастырь,  
Весь скарб мой — сапоги да ряса,  
А библиотека — псалтырь!

Ночью, когда несмелая северная весна заглянула в узкое оконце кельи, старый поэт поднялся, взял ватную куртку, надел на заплатанный подрясник, сложил в мешок самодельную тетрадь, хлеб, огарок свечи, несколько серебряных монет и тихонько вышел на монастырский двор. У ворот монастыря служка, зевая, спросил:

— Куда, отец Василий?

— Подышать воздухом. Пропусти.

Служка подумал и открыл калитку.

Больше Сиротин в монастыре не появлялся.

Отвязал от причала рыбацью лодку. Взмахнул веслом. Следы его затерялись на Вологодчине, и где он нашел свой конец — неизвестно.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Оботуров. Слово — годы — книги</i> .....	3
Предисловие .....	8
Мастера .....	10
Государев гнев .....	44
Воевода Плещеев .....	48
Одержимые .....	50
Петр на Сухоне .....	93
Изограф .....	97
Тургенев и Верещагин .....	106
Неистовый семинарист .....	114

*Издание подготовлено при поддержке  
Администрации Вологодской области*

---

25р.

**БЕЛЕЦКИЙ-ЖЕЛЕЗНЯК**  
Владимир Степанович

**ЛЮБОВЬ МОЯ, ВОЛОГДА**

ПОВЕСТИ  
НОВЕЛЛА  
ЭТЮДЫ

Редактор *В. А. Оботуров*  
Художник *Э. В. Фролов*  
Рис. *Н. В. Железняк*

---

Сдано в набор 23.11.2002 г. Подписано в печать 6.02.2003 г.  
Формат 70x108/32. Бумага писчая. Гарнитура «Таймс». Усл. псч. л. 6,48.  
Печать офсетная. Тираж 999. Заказ 3909.

---

Вологодская писательская организация  
160035, г. Вологда, ул. Ленина, 2.  
ООО ПФ «Полиграфист», 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.



Богатела Москва — богатела и Вологда... И тянулись через нее пути на Север и на Урал, и в иноземные державы. А в лихолетье вологжане и устюжане, тотмичи и белозеры освобождали под знаменами Минина и Пожарского от лихих воров и захватчиков Москву. Всегда откликалось сердце Вологды на призыв Москвы.

Обязательно приходите в белые ночи в сквер 800-летия, прислушайтесь к зову, идущему от веков, и преисполнитесь благодарностью к этой земле, частице великой родины — России.

Древнее и священное место!

«ВОЛОГДА • XXI ВЕК»

*Вл. БЕЛЕЦКИЙ-ЖЕЛЕЗНЯК*

«ЛЮБОВЬ МОЯ, ВОЛОГДА»

ВОЛОГДА • 2003